



ТЭФФИ

**ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ**

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Надежда Тэффи

Юмористические рассказы

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69223234

Юмористические рассказы: Издательство АСТ; Москва; 2023

ISBN 978-5-17-154132-3

Аннотация

Дети и взрослые, мужчины и женщины. Ретрограды и прогрессисты.

Юноши и барышни, мужья и жены, пылкие влюбленные и коварные обольстительницы, бедняки и богачи, народ, аристократы и интеллигенция.

Все они попадают в комичные и нелепые ситуации, и над каждым из них посмеивается Тэффи – с жалостью и снисхождением, но чаще – с тонкой иронией. Остроумие Тэффи поистине великолепно, а ее душевные юмористические рассказы абсолютно искренни, поэтому они и сейчас пользуются заслуженной популярностью.

Содержание

Жизнь и воротник	6
Корсиканец	12
Они поют...	16
Страшный прыжок	21
Пасхальные советы молодым хозяйкам	31
Бабья книга	36
1-е апреля	41
Маски	45
Дача	50
Письма издалека	57
Путешествие	57
Курорт	63
Вода	64
Доктор	66
Больной	68
Музыка	71
Русские	72
Лакей	75
Завоевание воздуха	79
Французский роман	83
К теории флирта	90
Тонкая штучка	95
Дэзи	100

Неделикатности	105
Гедда Габлер	110
Разговоры	114
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Тэффи

Юмористические рассказы

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

Жизнь и воротник

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмаль- ный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточ- кой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила

весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

– Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного

стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

– Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие – ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе,

а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

– Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

– Господи! Куда я попала?!

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

– Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

– Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

– Да ведь здесь нет никакой музыки! – возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл самый честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.

– Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

– Где была? Со студентом болталась!

Честный муж пошатнулся.

– Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

– Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово – «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус»,

потому что оно похоже на «обнимусь».

– А где воротник? – спросите вы.

– А я-то почему знаю, – отвечу я. – Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

Корсиканец

Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным; он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Басу вторил, едва поспевая за ним, сбиваясь и фальшивя, робкий, осипший голосок: «ря-бочий на-рёд...»

– Эт-то что? – воскликнул жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

– Я уже имел обстоятельство доложить вам на предмет агента.

– Нич-чего не понимаю! Говорите проще.

– Агент Фиалкин изъявляет неперемнное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх шта-та. Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои истрачиваю на конку. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование...

«Крjававый и прjавый...» – дребезжало за стеной.

«Врешь!» – поправлял бас.

– И что же – талантливый человек? – спросил жандарм.

– Амбициозен даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же, лезет в провокаторы. Ныл, ныл... Вот, спасибо, городской, бляха № 4711... Он у нас это все как по нотам... Слова-то, положим, все городские хорошо знают, на улице стоят, – уши не заткнешь. Ну а эта бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся выучить.

– Ишь! «Варшавянку» жарят, – мечтательно прошептал жандарм. – Самолюбие – вещь недурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон – простой корсиканец был... однако достиг, гм... кое-чего.

«Оно горит и ярко рдеет. То наша кровь горит на нем», – рычит бляха № 4711.

– Как будто уж другой мотив, – насторожился жандарм. – Что же он, всем песням будет учить сразу?

– Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, будто какое-то дельце обрисовывается.

– И самолюбьище же у людей!

«Семя грядущего...» – заблеял шпик за стеной.

– Энергия дьявольская, – вздохнул жандарм. – Говорят, что Наполеон, когда еще был простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

– А эт-то что? – поднимает брови жандарм.

– А это наши союзники, которые на полном пансионе в нижнем этаже. Волнуются.

– Чего им?

– Пение, значит, до них дошло. Трудно им...

– А, ч-черт! Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, и на улице слышно, подумают, митинг у нас.

«Пес ты окаянный! – вздыхает за стеной бляха. – Чего ты воешь, как собака? Разве революционер так поет! Революционер открыто поет. Звук у него ясный. Каждое слово слышно. А он себе в щеки скулит да глазами во все стороны сигаает. Не сигай глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду. Нанимай себе максималиста, коли охота есть».

– Сердится! – усмехнулся письмоводитель. – Фигнер какой!

– Самолюбие! Самолюбие, – повторяет жандарм. – В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или честный провокатор, разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

«Нашим пóтом жиреют обжоры», – надрывается городской.

– Тьфу! У меня даже зуб заболел! Отговорили бы его как-нибудь, что ли.

– Да как его отговоришь-то, если он в себе чувствует эдакое, значит, влечение. Карьерист народ пошел, – вздыхает письмоводитель.

– Ну, убедить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вон зуб болит...

«Вы жертвою пали...» – жалобно заблеял шпик.

– К черту! – взвизгнул жандарм и выбежал из комнаты. – Вон отсюда! – раздался в коридоре его прерывающийся, осипший от злости голос. – Мерзавцы. В провокаторы лезут, «Марсельезы» спеть не умеют. Осрамят заведение! Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев!..

Хлопнула дверь. Все стихло. За стеной кто-то всхлипнул.

Они поют...

Они начинают петь с шести утра. Из окна моей комнаты я могу видеть прачечную, где они работают, и вылетающие из дверей клубы белого пара, словно пронизанного стальными вибрирующими нитями, их звонкими и глухими, резкими и тягучими разнообразно-ужасными голосами.

От голосов этих нельзя ни укрыться, ни спастись. Они найдут и разыщут вас всюду, они прервут ваш сон, оторвут ваше внимание от работы, от интересной книги и, незримым тонким крючком подцепив вашу протестующую и негодующую душу, потянут ее в царство пошлости, из которой рождены.

Нужно бежать, прямо бежать на улицу, – мелькает в голове. Но вы бросаете взгляд на письменный стол, где лежит неоконченная работа, вспоминаете раскаленные камни мостовой и остаетесь дома.

А они поют, поют, поют... Репертуар их песен самый несложный, но к нему никогда нельзя привыкнуть, как не могли привыкнуть дети Якова Д'Арманьяка к тому, что, по приказанию Генриха VIII, им выдергивали каждый день по одному зубу; не могли, несмотря на все однообразие этой пытки.

Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской песни, с ее грустными, захватывающими переливами, с на-

ивными бессознательно-красивыми словами? Неужели она бесповоротно вытеснена безобразными и бессмысленными фабричными напевами? В глуши Могилевской губернии, на расстоянии более ста верст от железной дороги, деревенские бабы распевают «Канхветка моя, лядинистая». Этот гостинец, вместе с безобразными «модными» кофтами, принесли им мужья из далеких городов, куда они ходят на заработки.

Знаменитые песни «Не одна во поле дороженька», «Не белы снеги» заброшены совсем. Деревенская молодежь их не любит, говорит, что это песни мужицкие (оказывается, что мужикам не нравится «мужицкое», их же собственное свойство!).

Я вспоминаю эти красивые полузабытые песни, а те, там внизу, все поют и поют! Сегодня нет между ними согласия и единства. Каждая тянет свое. Вот широким серым винтом крутится однообразная, тоскливая мелодия, прерываемая длинными паузами, во время которых я замираю от ожидания, от смутной надежды, что этот куплет был последним. Но винт продолжает кружиться, ввинчивается в мои мысли, разбивает их...

Мамашенька руга-ала! —

широко, повествовательно и убедительно сообщает новый тягучий голос, и мне кажется, что я вижу источник его — растянутый поблекший рот, увенчанный круглым красным но-

сом, и я всецело становлюсь на сторону «мамашеньки», которая ругала.

А вот другой восторженный голос предлагает полюбоваться совершенно невообразимым пейзажем, но, должно быть, успокоительным:

Посмотри, над рекой
Вьется мрамор морской.

А вот еще новый куплет, который даже приводит меня в умиление:

Напишу я твой портрет,
Господа будут съезжаться,
На портретах любоваться,
В один голос говорить:
Да и что это за прелесть!
Неужели – человек?

О, светлая, девственная, нетронутая глупость! Глупость, перед которой, по словам Гете, преклонялись даже боги!

А они все поют, поют... Я ненавижу их! Я возмущаюсь против себя самой, но я ненавижу их! Я стараюсь внушить себе мысль, что это бедные женщины-труженицы, что песнью своей они скрашивают жизнь, облегчают труд, что это их неотъемлемое право, но мысль эта скользит по поверхности моей души, не затрагивая ее.

Потом я начинаю утешать себя, что не могут они петь без отдыха весь день. Должны же они, наконец, хоть обедать, что ли! И я представляю себе большие, огромные куски хлеба, которыми мысленно затыкаю все эти отверстые, звенящие и гудящие рты.

Но они, вероятно, обедают по очереди, потому что голоса их не смолкают весь день.

Не смейся надо мной,
Господь тебя накажет
Возвратною женой.

«Возвратною женой»! Как это звучит! «Возвратная жена»! Словно возвратный тиф. Нет, еще хуже. Мой утомленный мозг рисует мне странные, нелепые картины... А они все поют, поют...

Я смотрю на часы: четыре! Итак, полдня я слушаю их. Да, да! Они поют, а я слушаю! Мне начинает казаться, что я сошла с ума, что реально существовать не может такого ужаса.

В продолжение получаса думаю об инквизиционных пытках Торквемады! Детские забавы! Грубые, примитивные приемы для вызова физических страданий.

Прачку! Одну петербургскую прачку нужно было им.

Я мысленно предаю всех своих врагов, затем друзей и родственников, затем клевету на близких и дальних своих. Какой жертвы хочешь ты от меня еще, прачка?

Последнее средство: возьму старую, давно знакомую, дав-

но любимую книгу. Она захватит мою душу, уведет ее за собой. Я беру том Шекспира, открываю его и, оборачиваясь к окну, говорю заклинание: «Прачка! Трехвековая нетленная красота в руках моих. Сгинь! Пропади!»

Я читаю, глаза скользят по строчкам, которых я не вижу, не понимаю, не могу понять. Я слышу, как «ругает мамашенька» и «вьется над рекой морской мрамор»! Спасенья нет. Я бросаю книгу и начинаю метаться по комнате, ломая руки и повторяя, как леди Макбет: «It will make me mad! It will make me mad!»¹

А они все поют! поют! поют!..

¹ Это сведет меня с ума! Это сведет меня с ума! (англ.)

Страшный прыжок

Посвящаю Герману Бангу и прочим авторам рассказов об акробатках, бросившихся с трапеции от несчастной любви

1

Многие думали, что Ленора не любит его.

Может быть, считали его, толстого, краснощекого и спокойного, неспособным вызвать нежное чувство в избалованной успехом девушке? Может быть, не знали, что любовь такая птица, которая может свить себе гнездо под любым пнем? Может быть. Но какое нам дело до того, что думали многие?

2

Каждый вечер сидел он на своем обычном месте в первом ряду кресел.

Его цилиндр блестел.

Тихо, под звуки печального вальса, качалась разубранная цветами трапеция.

Гибкая, стройная, то прямая как стрела, то круглая как

кольцо, то изогнутая как не знаю что, кружилась Ленора.

«Я люблю тебя!» – шептали ее длинные, шуршащие волосы.

«Я люблю тебя!» – говорили ее напряженно-дрожащие руки.

«Я люблю тебя!» – кричали ее вытянутые ноги.

Вот она скользнула с трапеции и, держась за канат одной рукой, повисла, дрожа и сверкая, как слеза на реснице.

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!² —

пели скрипки.

3

Он вспоминал их первую встречу и ту веточку ландышей, которую он подарил ей в первый вечер.

Где хранила Ленора засохший цветок?

Где?

Кажется, в комоде.

4

Четыре года блестел его цилиндр в первом ряду кресел.

² Любовь! Любовь! Всегда! Каждый день! (фр.)

Но вот однажды, в дождливый осенний вечер (о, зачем дождь идет осенью, когда и без того скверная погода!) он не пришел.

Тихо шуршали волосы Леноры, шуршали, шептали и звали.

И плакали скрипки:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

5

Он пришел через два дня.

Кажется, цилиндр его потускнел немножко. Не знаю.

Он приходил только пять дней. Затем пропал на две недели.

Ленора молчала. Никто не слышал ее жалоб, но все знали, что он изменил и что она все знает.

6

Она прокралась ночью к его окну и стояла до утра под дождем, градом и снегом (в эту ночь было все зараз) и прислушивалась, как блаженствует он в объятиях ее соперницы.

7

Она страдала молча, но скрыть страданий не могла, и зрители даже самых отдаленных рядов, куда дети и нижние чины допускаются за двадцать копеек, замечали, как она худет у них на глазах.

Директор цирка, разузнав все подробно, решил, что пора дать ей бенефис.

А скрипки продолжали, как заладили:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

8

День бенефиса приближался. Ленора готовилась. Никто не знал, какое упражнение разучивает она, потому что она работала одна и никого в это время к себе не допускала.

Старый клоун пробовал подслушать, но за дверью было так тихо. Слышались только заглушенные вздохи.

Так не готовятся к бенефису, но, может быть, так готовятся к смерти?

Старый клоун встретил Ленору у дверей конюшни и вкрадчиво спросил ее, дрессируя слона:

– Ленора! Отчего не слышно, как вы упражняетесь, готовясь к своему бенефису?

– Чудак! – ответила она, усмехнувшись. – Вы хотите слышать, как летают по воздуху?

– Ленора! – умоляюще воскликнул он. – Ленора! Откройте мне, какую штуку вы готовите?

Она подняла свои побледневшие брови и, жутко отекающая, сказала:

– Головоломную.

Он долго вспоминал это слово. Какое-то странное дуновение пробежало по воздуху, колыхнуло волосы.

Может быть, слон вздохнул?

10

День бенефиса приближался.

Уже готова была гигантская афиша, на которой было написано огромными буквами, красными, как кровь, и черными, как смерть: «Мадемуазель Ленора, вопреки всяким законам тяготения, перелетит по воздуху через весь цирк.

Цены бенефисные. Без сетки».

Последние два слова относились к полету, а не к ценам, и были написаны в конце по ошибке и недосмотру. Но тем мучительнее было производимое ими впечатление, и странно переплетались буквы, красные, как кровь, и черные, как смерть. Без сетки.

11

Утром, в день бенефиса, директор позвал к себе бледную Ленору и сказал ей:

– Ленора! Цены я назначил тройные. Сбор в твою пользу. Но если что-нибудь... словом, в случае твоей смерти сбор целиком поступает ко мне.

И он улыбнулся. Улыбка смерти... Ленора молча кивнула головой и вышла.

Она надела плащ и, закутав голову в черный платок, пошла на окраину города, к вдове портного, живущей в хорошеньком домике с огородом, приносящим пользу и удовольствие.

Она недолго пробыла там, и о чем говорила с вдовой портного, неизвестно. Но вышла она с просветленным лицом.

12

Наступил вечер. Зажгли лампы и фонари. Темная масса народа прихлынула к дверям цирка и стала медленно вливаться в его открытые двери, напоминавшие пасть странного чудовища, у которого внутри светло.

Поднимали головы, смотрели на красные и черные буквы и улыбались, как нероновские тигры, которым дали понюхать христианина. Волнуясь и торопясь, рассаживались по местам.

У самой арены толпились репортеры, поздравляли друг друга. Один из них, молоденький новичок, задорно усмеявшись, сказал странные слова:

– А я, признаться сказать, уже сдал заметку вперед. Написал, что подробности после.

Товарищи взглянули на него завистливо.

13

Началось представление.

Публика была рассеянна и равнодушна. Ждали последнего номера, обещанного красными и черными буквами. Смертью и кровью.

Вот вышел любимец публики, старый клоун.

Но ни одна шутка не удалась ему. Что-то волновало и мучило его, и он не заслужил аплодисментов, несмотря на то что дважды задел честь мундира околоточного надзирателя.

Вернувшись в конюшню, он вытащил какой-то черный ящик и стал прилаживать к нему крышку.

14

Она вышла бледная и спокойная. Прост был ее наряд. На груди, у сердца, была приколота засохшая ветка ландыша. Это было единственным ее украшением. В остальном, повторяю, наряд ее был чрезвычайно прост.

Скрипки (что им делается!) зарядили свое:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

Она тихо повела глазами, осматривая толпу. Вздогнула и замерла.

В первом ряду, на обычном месте, тускло блестел и переливался цилиндр.

Она склонила голову.

– Ave Caesar!³

И медленно поднялась вверх, под самый купол цирка.
Сейчас! Сейчас!

³ Здравствуй, Цезарь! (*лат.*)

Зрители вскочили с мест, беспорядочно толпясь у самой арены, боясь пропустить малейшее движение там, наверху.

Музыка смолкла. Толпа замерла. Чуть слышно скрипели сухие перья репортеров.

Вот мелкой дробью забил барабан.

Барабан? К чему барабан? Разве хоронят генерала? И уместен ли барабан на похоронах человека, не имеющего военного чина?..

Ленора вытянулась, высвободила обе руки, она не держится больше за канат. Она взяла ветку ландышей, приложила ее к губам и бросила вниз. Долетит ли эта легкая сухая ветка до земли, прежде чем...

Ленора подалась вперед, вытянула руки. Взметнулись на воздух ее длинные волосы... Раздался нечеловеческий крик...

15

Это кричал толстый господин в цилиндре.

16

Это кричал толстый господин в цилиндре, которому в толпе отдавили ногу.

На другой день Ленора, получив тройной сбор за бенефис, купила у вдовы портного хорошенький домик с огородом, приносящим пользу и удовольствие.

Пасхальные советы молодым хозяйкам

Прежде всего мы должны помнить, что из пасхальных приготовлений важнее всего сама пасха, так как праздник получил свое название именно от нее, а не от кулича и не от ветчины, как предполагают многие невежды.

Поэтому на пасху мы должны покупать пять фунтов творогу у чухонки и хорошенько сдобрить его сахаром.

Если пасха готовится только для своего семейства, то этим можно и ограничиться. Если же предполагается разговение с гостями, то нужно еще наболтать в творог яиц и сметаны. Гость также требует и ванили, чего тоже забывать не следует.

Чтоб показать гостю, что пасха хорошо удобрена, в нее втыкают цветок. Гость, если он человек неиспорченный и доверчивый, должен думать, что цветок сам вырос, – и умилиться.

С боков пасхи хорошо насовать изюму, как будто и внутри тоже изюм. Иной гость пасхи даже и не попробует, а только поглядит, а впечатление получит сильное.

Если же кухарка второпях налепит вам в пасху вместо изюма тараканов, то сами вы их не ешьте (гадость, да и вредно), а перед гостем не смущайтесь, потому что если он чело-

век воспитанный, то и виду не должен показать, что признал в изюмине таракана. Если же он невоспитанный нахал, то велика, подумаешь, для вас корысть водить с ним знакомство. Таких людей обегать следует и гнушаться.

Оборудовав пасху, следует заняться куличом.

Тут я должна сделать маленькое разоблачение. Пусть недовольные бранят меня, как хотят, а по-моему, разоблачение это сделать давно пора. Слишком пора.

Итак, судите меня, как хотите, но кулич не что иное, как самая обыкновенная сдобная булка, в которую натыкали кардамону, а сверху воткнули бумажную розу.

Кто может возразить мне?

Больше о куличе я ничего говорить не хочу, потому что это меня раздражает.

Займемся лучше ветчиной.

Какой бы скверный окорок у вас ни был, хоть собачья нога, но раз вы намерены им разговляться, а в особенности разговлять своих гостей, вы обязаны украсить его стриженной бумагой. Какую взять бумагу и как ее настричь, это уж вам должна подсказать ваша совесть.

Нарезать окорок должны под вашим личным наблюдением, ибо у всех кухарок для числа нарезаваемых кусков существует одна формула: $N = \text{числу потребителей} - 1$.

Таким образом, один гость всегда останется без ветчины, и все знакомые на другой же день услышат мрачную легенду о вашей жадности.

Теперь перейдем к невиннейшему и трогательнейшему украшению пасхального стола – к барашку из масла.

Это изящное произведение искусства делается очень просто: вы велите кухарке накрутить между ладонями продолговатый катыш из масла. Это туловище барашка. Сверху нужно прилепнуть маленький круглый катыш с двумя изюминками – это голова. Затем пусть кухарка поскребет всю эту штуку ногтями вкруг, чтобы баран вышел кудрявый. К голове прикрепите веточку петрушки или укропу, будто баран утоляет свой аппетит, а если вас затошнит, то уйдите прочь из кухни, чтоб кухарка не видела вашего малодушия.

Гости очень любят такого барашка. Умиляются над ним, некоторые отчаянные головы даже едят его, а под конец разговенья часто тпрукают ему губами, чтобы польстить хозяйкам, и говорят заплетающимся языком: «Какой искусный у вас этот баранчик! Доведись такого встретить на улице, подумал бы, что живой. Ей-богу! Поклонился бы...»

Кроме всего вышеуказанного, на пасхальный стол ставят еще либо индюшку, либо курицу, в зависимости от ваших отношений с соседним зеленщиком. Какая бы птица ни была, вы обязуетесь на обе ее лапы, если только у вас есть эстетические запросы, надеть панталоны из стриженной бумаги. Это сразу поднимет птицу в глазах ваших гостей.

Класть птицу на блюдо нужно филеем кверху, чтобы гость, окинув ее даже самым беглым взглядом, сразу понял, с кем имеет дело.

Под одно крыло нужно ей подсунуть ее собственную печенку, под другое почку. Курица, снаряженная таким образом, имеет вид, будто собралась в дальнее путешествие и захватила под руку все необходимое. Забыла только голову.

Затем нужно декорировать стол бутылками.

Прежде всего поставьте два графина с водой. Потом бутылку с уксусом и сифон. Все это занимает много места и все-таки бутылки, а не какой-либо иной предмет, которому на столе быть не надлежит.

Затем поставьте «тип мадеры», который сохраняет все типические черты этого вина, кроме цены, и потому предпочтительнее заграничного. Поставьте еще «тип хереса», «тип портвейна», «тип токайского», и у вас на столе будет нечто вроде альбома типов, что должно же импонировать гостям.

Когда наливаете вино, каждый раз приговаривайте: «Вот могу рекомендовать!»

Чем вы рискуете?

Когда гости, по вашему мнению, достаточно разговелись и вам захочется спать, не следует говорить избитой фразы:

– А не пора ли, господа, и по домам!

Это, в сущности, довольно невежливо. Следует поступать томно и по-аристократически. Прикройте рот рукой и скажите:

– У-аух!

Будто зеваете. А потом посмотрите на часы и будто про себя:

– Ого! Однако!

Тут они, наверное, поймут и встанут. А если не поймут, то можно повторить этот прием несколько раз все громче и внушительнее.

Если какой-нибудь гость до того доразговляется, что уж ему ничего не втолкуешь, то нужно деликатно потрясти его за плечо и вдумчиво сказать:

– Пшел вон!

Это действует.

Потом соберите лучшие украшения вашего пасхального стола, как то: бумажные цветы, миндаль с кулича, изюм с пасхи и укроп с барана и бережно спрячьте эти продукты до будущего года.

Ибо бережливость есть родственница благосостоятельности.

Бабья книга

Аркадию Руманову

Молодой эстет, стилист, модернист и критик Герман Енский сидел в своем кабинете, просматривал бабью книгу и злился. Бабья книга была толстенький роман, с любовью, кровью, очами и ночами.

«– Я люблю тебя! – страстно шептал художник, обхватывая гибкий стан Лидии...»

«Нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!»

«Вся моя жизнь была предчувствием этой встречи...»

«Вы смеетесь надо мной?»

«Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение».

– О-о, пошлая! – стонал Герман Енский. – Это художник будет так говорить! «Могучая сила толкает», и «нельзя бороться», и всякая прочая гниль. Да ведь это приказчик постеснялся бы сказать, – приказчик из галантерейного магазина, с которым эта дурища, наверное, завела интрижку, чтобы было что описывать.

«Мне кажется, что я никого никогда еще не любил...»

«Это как сон...»

«Безумно!.. Хочу прильнуть!..»

– Тьфу! Больше не могу! – и он отшвырнул книгу. – Вот мы работаем, совершенствуем стиль, форму, ищем новый смысл и новые настроения, бросаем все это в толпу: смотри – целое небо звезд над тобою, бери какую хочешь! Нет! Ничего не видят, ничего не хотят. Но не клевети, по крайней мере! Не уверяй, что художник высказывает твои коровьи мысли!

Он так расстроился, что уже не мог оставаться дома. Оделся и пошел в гости.

Еще по дороге почувствовал он приятное возбуждение, неосознанное предчувствие чего-то яркого и захватывающего. А когда вошел в светлую столовую и окинул глазами собравшееся за чаем общество, он уже понял, чего хотел и чего ждал. Викулина была здесь, и одна, без мужа.

Под громкие возгласы общего разговора Енский шептал Викулиной:

– Знаете, как странно, у меня было предчувствие, что я встречу вас.

– Да? И давно?

– Давно. Час тому назад. А может быть, и всю жизнь.

Это Викулиной понравилось. Она покраснела и сказала томно:

– Я боюсь, что вы просто донжуан.

Енский посмотрел на ее смущенные глаза, на ее ждущее, взволнованное лицо и ответил искренно и вдумчиво:

– Знаете, мне сейчас кажется, что я никого никогда еще не любил.

Она полузакрыла глаза, пригнулась к нему немножко и подождала, что он скажет еще.

И он сказал:

– Я люблю тебя!

Тут кто-то окликнул его, подцепил какой-то фразой, потянул в общий разговор. И Викулина отвернулась и тоже заговорила, спрашивала, смеялась. Оба стали такими же, как все здесь за столом, веселые, простые, – все как на ладони.

Герман Енский говорил умно, красиво и оживленно, но внутренне весь затих и думал:

«Что же это было? Что же это было? Отчего звезды поют в душе моей?»

И, обернувшись к Викулиной, вдруг увидел, что она снова пригнулась и ждет. Тогда он захотел сказать ей что-нибудь яркое и глубокое, прислушался к ее ожиданию, прислушался к своей душе и шепнул вдохновенно и страстно:

– Это как сон...

Она снова полузакрыла глаза и чуть-чуть улыбалась, вся теплая и счастливая, но он вдруг встревожился. Что-то странно знакомое и неприятное, нечто позорное зазвучало для него в сказанных им словах.

«Что это такое? В чем дело? – замучился он. – Или, может быть, я прежде, давно когда-нибудь уже говорил эту фразу, и говорил не любя, неискренно, и вот теперь мне стыдно. Ничего не понимаю».

Он снова посмотрел на Викулину, но она вдруг отодвину-

лась и шепнула торопливо:

– Осторожно! Мы, кажется, обращаем на себя внимание...

Он отодвинулся тоже и, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, тихо сказал:

– Простите! Я так полон вами, что все остальное потеряло для меня всякое значение.

И опять какая-то мутная досада напозла на его настроение, и опять он не понял, откуда она, зачем.

«Я люблю, я люблю и говорю о любви своей так искренно и просто, что это не может быть ни пошло, ни некрасиво. Отчего же я так мучаюсь?»

И он сказал Викулиной:

– Я не знаю, может быть, вы смеетесь надо мной... Но я не хочу ничего говорить. Я не могу. Я хочу прильнуть...

Спазма перехватила ему горло, и он замолчал.

Он провожал ее домой, и все было решено. Завтра она придет к нему. У них будет красивое счастье, неслыханное и невиданное.

– Это как сон!..

Ей только немножко жалко мужа.

Но Герман Енский прижал ее к себе и убедил.

– Что же нам делать, дорогая, – сказал он, – если нас толкает друг к другу какая-то могучая сила, против которой мы не можем бороться!

– Безумно! – шепнула она.

– Безумно! – повторил он.

Он вернулся домой как в бреду. Ходил по комнатам, улыбался, и звезды пели в его душе.

– Завтра! – шептал он. – Завтра! О, что будет завтра!

И потому, что все влюбленные суеверны, он машинально взял со стола первую попавшуюся книгу, раскрыл ее, ткнул пальцем и прочел:

«Она первая очнулась и тихо спросила:

– Ты не презираешь меня, Евгений?»

– Как странно! – усмехнулся Енский. – Ответ такой ясный, точно я вслух спросил у судьбы. Что это за вещь?

А вещь была совсем немудреная. Просто-напросто последняя глава из бабьей книги.

Он весь сразу погас, съежился и на цыпочках отошел от стола.

И звезды в душе его в эту ночь ничего не спели.

1-е апреля

1-е апреля – единственный день в году, когда обманы не только разрешаются, но даже поощряются. И – странное дело – мы, которые в течение трехсот шестидесяти пяти, а в високосный год трехсот шестидесяти шести дней так великолепно надуваем друг друга, в этот единственный день – первого апреля – окончательно теряемся.

В продолжение двух-трех дней, а некоторые так и с самого Благовещения ломают себе голову, придумывая самые замысловатые штуки.

Покупаются специальные первоапрельские открытки, составленные тонко, остроумно и язвительно. На одной, например, изображен осел, а под ним подписано:

«Вот твой портрет».

Или, еще удачнее: на голубой траве пасется розовая свинья, и подпись:

«Ваша личность».

Все это изящно и ядовито, но, к сожалению, очень избито. Поэтому многие предпочитают иллюстрировать свои первоапрельские шутки сами.

Для этого берется четвертушка почтового листа, на ней крупно, печатными буквами, выписывается слово «дурак» или «дура», в зависимости от пола адресата.

Буквы можно, для изящества, раскрасить синими и крас-

ными карандашами, окружить завитушками и сиянием, а под ними приписать уже мелким почерком:

«Первое апреля».

И поставить три восклицательных знака.

Этот способ интриги очень забавен, и, наверное, получивший такое письмо долго будет ломать себе голову и перебирать в памяти всех знакомых, стараясь угадать остряка.

Многие изобретательные люди посылают своим знакомым дохлого таракана в спичечной коробке. Но это тоже хорошо изредка, а если каждый год посылать всем тараканов, то очень скоро можно притупить в них радостное недоумение, вызываемое этой тонкой штучкой.

Люди привыкнут и будут относиться равнодушно:

– А, опять этот идиот с тараканами! Ну, бросьте же их поскорее куда-нибудь подальше.

Разные веселые шуточки вроде анонимных писем: «Сегодня ночью тебя ограбят» – мало кому нравятся.

В настоящее время в первоапрельском обмане большую роль играет телефон.

Выберут по телефонной книжке две фамилии поглупее и звонят к одной.

– Барин дома?

– Да я сам и есть барин.

– Ну так вас господин (имярек второго) немедленно просит приехать к нему по такому-то адресу. Все ваши родственники уже там и просят поторопиться.

Затем трубку вешают, и остальное предоставляется судьбе.

Но лучше всего, конечно, обманы устные.

Хорошо подойти на улице к незнакомой даме и вежливо сказать:

– Сударыня! Вы обронили свой башмак.

Дама сначала засуетится, потом сообразит, в чем дело. Но вам незачем дожидаться ее благодарности за вашу милую шутку. Лучше уходите скорее.

Очень недурно и почти всегда удачно выходит следующая интрига: разговаривая с кем-нибудь, неожиданно воскликните:

– Ай! У вас пушинка на рукаве!

Конечно, найдутся такие, которые равнодушно скажут:

– Пушинка? Ну и пусть себе. Она мне не мешает.

Но из восьмидесяти один, наверное, поднимет локоть, чтобы снять выдуманную пушинку.

Тут вы можете, торжествуя, скакать вокруг него, приплясывая, и припевать:

– Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

С людьми, плохо поддающимися обману, надо действовать нахрапом.

Скажите, например, так:

– Эй! Вы! Послушайте! У вас пуговица на боку!

И прежде чем он успеет выразить свое равнодушие к пуговице или догадку об обмане, орите ему прямо в лицо:

– Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

Тогда всегда выйдет, как будто бы вам удалось его надуть – по крайней мере, для окружающих, которые будут видеть его растерянное лицо и услышат, как вы торжествуете.

Обманывают своих жен первого апреля разве уж только чрезмерные остроумцы. Обыкновенный человек довольствуется на сей предмет всеми тремястами шестьюдесятью пятью днями, не претендуя на этот единственный день, освященный обычаем.

Для людей, которым противны обычные пошлые приемы обмана, но которые все-таки хотят быть внимательными к своим знакомым и надуть их первого апреля, я рекомендую следующий способ.

Нужно влететь в комнату озабоченным, запыхавшимся, выпучить глаза и закричать:

– Чего же вы тут сидите, я не понимаю! Вас там, на лестнице, Тургенев спрашивает! Идите же скорее!

Приятель ваш, испуганный и польщенный визитом столь знаменитого писателя, конечно, ринется на лестницу, а вы бегите за ним и там уже, на площадке, начните перед ним приплясывать:

– Первое апреля! Первое апреля! Первое апреля!

Маски

У нас любят рядиться на Святках и прятаться под маску, но что в этом веселого, – право, никто объяснить не сумеет.

Я понимаю, как чувствует себя француз, надевая маску.
– Но-la-la!

Про каждого из своих добрых знакомых он знает сотни штучек и тысячи маленьких гадостей, на которые так приятно намекнуть, а еще приятнее сказать прямо в глаза!

Но в обыденной жизни и с открытым лицом это невозможно. Еще поколотят! Да и к чему ссориться?

То ли дело в маскараде.

– Madame! Брюнет, которым вы интересовались в сентябре прошлого года, передал известный вам ключ одной из ваших приятельниц. Какой? Если позволите, я намекну...

Тонкая интрига заплетается, расплетается.

Отправляясь на маскарад, француз заранее придумывает, с кем и о чем говорить, как устроить, чтобы было занятно, и весело, и тонко, чтобы можно было немножко рискнуть, немножко провиниться и все-таки «*ça ne tire pas à consequence*»⁴.

Русский человек маскируется мрачно.

Прежде всего и главное всего – это чтобы его не узнали.

⁴ Это не имеет никаких последствий (*фр.*).

И для чего ему это нужно, одному Богу известно, потому что ни балагурить, ни шутить, ни интриговать он никогда не будет.

Приедет на костюмированный вечер, встанет где-нибудь у печки и молчит. Слова из него не выжмешь.

А кругом все стараются:

– Да это Иван Петрович! По рукам видно! Иван Петрович, снимите маску!

Но маска пыжится, прячет руки и молчит, пока не удостоверится, что узнана раз навсегда и бесповоротно. Тогда со вздохом облегчения открывает лицо и идет чай пить. Потом помогает узнавать другие маски.

Долго не узнанные томятся.

Им жарко, душно и смертельно скучно.

Зато на другой день хвастаются:

– Весело вчера было?

– Ну еще бы! Меня так до конца и не узнали! Нарочно весь вечер ни с кем не разговаривал.

– Всех надул! – мрачно веселится вчерашняя маска. – Поди, до сих пор не угадали, что это был я. Сегодня отдохну денек, а завтра снова в маскарад. А то уж очень жарко! Два дня подряд – организм не вынесет.

Тоска в наших маскарадах смертельная!

Распорядители из кожи вон лезут, придумывая «трюки».

Ничто не помогает!

Жмутся по углам тоскливые маски и все боятся, как бы

их не узнали!

Изредка мелькнет нелепым диссонансом какой-нибудь веселый Пьеро или Арлекин. Взвизгнет, перекувырнется.

Но от него все норовят подальше. Еще, мол, в историю впутаешься.

Если, не приведи бог, затешется в маскарадную толпу настоящий остряк и весельчак (чего на свете не бывает!), – ему несдобровать.

Слушать его будут молча, на шутки не ответят.

В прорези масок заблестят злые огоньки и скажут:

– А сорвать с него маску да вздуть хорошенько, так не стал бы тут растабарывать!

– Туда же, шутник!

Хозяева к острякам тоже относятся подозрительно.

– Афимья! – кричат кухарке. – Ты там посматривай за калошами. Мы отвечать не можем. В маске-то каждый притвориться может. А кто его знает, что у него на уме! Шутники!

Но такие шутники на русском маскараде редки до чрезвычайности. И то они склонны скорее покукурекать петухом или поквакать лягушкой, чем завести тонкую интригу.

Даже любители анонимных писем, завязтые сплетники и вруны, и те, надев маску, думают только о сохранении своего инкогнито.

– Маска, ты меня знаешь? – спрашивает у сплетника дама, которую он сразу узнал и про которую чересчур много знает.

Но он мычит в ответ, хотя сердце его разрывается от же-

лания поязвить безнаказанно.

Особенно жестоко веселятся на Святках в провинции.

Каждый вечер ряжутся и ездят по домам.

– Ряженные приехали!

Хозяева встречают их в гостинной молча. Молча входят маски.

Кто-нибудь заиграет на рояле. Маски молча протанцуют и молча уйдут.

Поедут к другим знакомым, и опять то же.

Уж такое беспросветное удовольствие!

У помощника исправника был сынок. Страшно любил наряжаться и маскироваться.

Из гимназии его выгнали, так что досугу было много. На Святках наряжался, в будни вспоминал.

Юноша был здоровьем слаб и к концу Святок еле держался на ногах.

– Да посмотрите, – жаловалась его мать, – на что он похож стал! Ведь краше в гроб кладут.

– Зато никто меня ни разу не узнал! – хвастался сынок. – Двадцать раз маскировался, – и никто! У головы до утра молча просидел, маски не снимал. И ужинать не стал. Начну, думаю, есть – еще узнает кто. Худо мне стало под конец, прямо дышать нечем. Закрыв глаза, даже сомлел на минутку. Сижу, держусь за стол руками, дотяну до утра, сам не знаю.

– Вот видите! – горюет мать. – Не бережет он себя, загубит здоровье!

Но сын остановил ее строго:

– Ничего, маменька! Вы свое пожили, так дайте и другим.

Мне ведь тоже повеселиться хочется.

И мать замолчала. Потому что сама знала, что значит русский маскарад.

Тяжело, а ничего не поделаешь!

Дача

Серое небо... серое море...

Серый воздух дрожит тонкими дождевыми нитями...

По липко-скользким дорожкам гуськом бродят первые дачники. Бродят они медленно, по три-четыре человека. Дети впереди, старики за ними. Если один отстает, все останавливаются и ждут его, долго и покорно, не поворачивая головы.

Они не разговаривают, даже не вздыхают, и о приближении их можно узнать только по тихому всхлипыванию калош...

Вот они прошли лесной дорожкой, по которой ходить строго воспрещается; подошли к парку, в который вход «воспрыщён» строго-настрога, через «ь». Посмотрели на деревья, которые нельзя ломать, на траву, которой нельзя рвать. Подошли к берегу, с которого серая доска позволяет купаться только «женщинам», и то в кавычках. Взглянули на скамейку, недоступную «посторонним лицам»... и тихо повернули опять на лесную дорожку, по которой ходить строго воспрещается. Дети впереди, старики за ними.



Дачник – происхождения доисторического, или, уж во всяком случае, – внеисторического. Ни у одного Иловайского о нем не упоминается.

Несколько народных легенд касаются слегка этого предмета.

Не буду приводить их дословно, воздержусь также от сохранения стиля и колорита, так как имею для этого особые причины. Передам только сущность.

Первый дачник пришел с запада. Остановился около деревни Укко-Кукка, осмотрелся, промолвил «бир тринкен» и сел. И вокруг того места, куда он сел, сейчас же образовались крокетная площадка, ломберный стол и парусиновая занавеска с красной каемочкой. Так просидел первый дачник первое лето.

На второе лето он вернулся опять. Принес с собой две удочки и привел четырех детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи. И образовался вокруг него зеленый заборчик, переносный ледник и кудрявые березки, которые дачник подрезывал и при помощи срезанных ветвей воспитывал своих детенышей. Так просидел первый дачник второе лето.

На третье лето вернулся снова и принес с собой гамак, флаг и привел восемь детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи и одного, почти безлобого, велосипедиста с

большим кадыком. И образовался вокруг него дачный дворник и потребовал вид на жительство. Но первый дачник не понял его. Тогда пришел полицейский и, узнав, что первый дачник по-русски не говорит, припомнил иностранные языки и сказал: «Позвольте ваш пейзаж». Потом они поняли друг друга, и первый дачник пустил первые корни.

Вокруг него образовался палисадник, граммофон и разносчики.

И стал первый дачник плодиться, размножаться, наполнять собой Озерки, Лахту, Лесное, Удельную и все Парголово.

И стало так.

* * *

Дачный дворник – существо особое, от обыкновенного дворника отличное.

Лицо у него круглое, с неискоренимым, вероятно, наследственно глупым выражением.

Существует он только летом. Где он находится и что делает зимой – никто до сих пор не знает. Вероятно, зимует там же, где раки. Знаю, что это определение не совсем ясное, но, к стыду моему, должна признаться, что до сих пор не осведомлена с точностью о рачьей резиденции. Многие обещают друг другу сделать это разъяснение, но, кажется, еще никто этого обещания не исполнил.

Как бы то ни было, но как только «за весной, красой природы» наступит лето и пригреет солнцем дачный палисадник, – тотчас около забора, в позе херувима Сикстинской Мадонны, подпершись обоими локтями, залоснится лик дачного дворника.

Деятельность дачного дворника велика и многообразна.

Встает он не позже пяти-шести часов и тотчас принимается за дело: притащит к самым окошкам какую-нибудь старую доску и начинает вколачивать в нее гвозди. Иногда доска бывает с железкой, и тогда она очень хорошо дребезжит. Колотит дачный дворник по доске до тех пор, пока с дикими воплями не высунутся из окон озверело-всклооченные головы дачников. Тогда дворник идет отдыхать. Но утренний сон, как известно, бывает крепок, и если дворник честный работяга, то ему приходится иногда трудиться не менее получаса, чтобы достигнуть вожаделенного конца.

Выждав время, когда озверелые дачники придут в себя и, одевшись и успокоившись, выползут на веранды и палисадники наслаждаться утренним зефиром, дачный дворник берется за метлу и начинает пылить. Пылит он долго и систематически. Там, где земля затвердела, подсыпает сухонького песку – сил своих не жалеет. И когда истомленные дачники, задыхающиеся и покорные, разбегаются по полям, лесам и оврагам, он снова уходит на отдых.

Затем, вплоть до вечера, ему «недосуг». Он сидит в своей сторожке и смотрит одним глазом в осколок зеркала, при-

лепленный к стенке.

Вечером он стоит у калитки и чешет левую лопатку оттопыренным пальцем правой руки. В то же самое время он не отказывает себе в удовольствии нанести посильный ущерб дачниковским делам. Он уверяет приехавших к ним друзей, что дачи стоят пустые, или что все съехали, или что не переехали, или что их выселили. Почтальонов направляет в другой конец, куда-нибудь за полотно железной дороги или в лес, откуда им потом трудно будет выбраться. Телеграмм не принимает никогда, а если не сможет отвертеться, то не передает или уж, в лучшем случае, вручит через три дня. Короче срока не бывает.

Ночью дачный дворник не спит и все время подсвистывает собакам, чтобы те лаяли и не давали спать дачникам.

Раза два в неделю делает визиты квартирантам, позволяя им выражать свою благодарность денежными знаками.

* * *

Дачным часам никто не верит. Живут по поездам, по пароходам, по мороженщику и по чиновникам. Иногда, конечно, это приводит к некоторым неудобствам. Вы, например, привыкли обедать по рыжему чиновнику с кривой кокардой. Видите, что он бежит с поезда, значит – пора садиться за стол. А вдруг у чиновника винт или еще того хуже – вечернее заседание, которое, по свидетельству его собственной жены,

продолжается иногда часов до шести утра!

Вот и сидите без обеда.

А если вы, например, привыкли пить чай по пятичасовому поезду. И вдруг, к ужасу своему, видите, что ровно в половине пятого летит поезд. Вам тревожно. Вы собираете домашний совет, причем одни говорят, что это опоздавший трехчасовой, другие – что поторопившийся пятичасовой. Одни советуют пить чай, другие настаивают, что следовало бы потерпеть. В семье разлад. Жизнь испорчена.

Я не говорю уже о пароходах. За ними уследить трудно, а проклятые деревенские мальчишки выучились так искусно трубить по-пароходному, что один коллежский ассессор, неиспорченный и доверчивый человек, позавтракал четыре раза подряд. И дорого за это поплатился – мяснику и зеленщику.

Чиновники, отправляющиеся ежедневно в город на службу, тоже живут друг другом.

Вот длинная улица, упирающаяся в вокзал. На ней – два ряда дач. Перед утренним девятичасовым поездом в одном из окошек каждой дачи появляется встревоженная физиономия и следит. Появилось вдали облачко пыли...

– Кто? Кто? – проносится по всей улице.

– Нет, это еще только полковник, – спокойно говорят одни. Но рыжий чиновник с кривой кокардой, живущий по полковнику, срывается с места и, прихватив портфель, бежит на вокзал.

Завидев его, начинает колыхаться толстый акцизный и, засунув два бутерброда в карман пальто, выползает на дорогу.

По акцизному живут два учителя, по учителям – дантист, по дантисту – банковский чиновник, по банковскому чиновнику – студент-репетитор, по студенту – музыкальная барышня, по барышне – конторщик в желтых башмаках, по конторщику – докторшин жилец, по жильцу – господин с двумя мопсами.

Каждый твердо знает свой указатель и следит только за ним. В первую голову всегда идет полковник.

Раз случилась катастрофа: полковник проспал. И вся вереница дачников, живущих друг по другу, опоздала на поезд. Проскочила только одна музыкальная барышня, и та забыла папку с надписью «musique» и сошла с ума.

* * *

Бродят первые дачники. Дети впереди, старики за ними. Бродят от одного столбика с дощечкой к другому столбику с дощечкой, и останавливаются, и читают о том, что им делать воспрещается.

Серое небо... серое море...

Письма издалека

Путешествие

Тяжело порою быть русским человеком.

Вот мне, например, очень хотелось бы писать «Письма издалека». А нельзя. И не потому нельзя, что я недалеко заехала, а потому, что русскому человеку ближе чем какую-нибудь северо-западную Зеландию и описывать неприлично.

Немцы – другое дело. Если немец проедет полчаса по железной дороге, то он уже считает, что сделал «eine Reise», «eine schöne Reise»⁵, и может потом описывать приключения этого путешествия многие годы, вызывая завистливые восклицания у восхищенных слушателей.

Сам блаженной памяти Генрих Гейне, пройдя пешком что-то верст восемнадцать из одного города в другой, пережил лиризма и сатиризма на сто двадцать страниц убористой печати.

Все зависит от восприимчивости путешествующего лица. Уверяю вас.

Иной сибиряк сделает полторы тысячи верст, завернувшись в шубу, и носа не выставит на свет божий. Да и нельзя.

⁵ Путешествие, прекрасное путешествие (нем.).

От сибирского мороза нос может треснуть, как грецкий орех под каблуком.

Ну вот спросите такого сибиряка, что он вынес из своего путешествия. Скажет одно:

– Вся эта полоса России пахнет собакой, крашенной под енота.

Потому что воспринял только свой собственный воротник.

Настоящий, толковый путешественник должен прежде всего любопытствовать. На каждой остановке спрашивать, что за станция и сколько примерно от нее верст до Богородска.

Если на платформе девочка продает грибы, подзовите и спросите, что это такое. Хоть и сами видите, а все-таки спросите. Потому что путешествующий должен любопытствовать. Потом справьтесь о цене. Скажите, что лучше бы ей было продавать малину. А если ответит, что малины уж нет, то посоветуйте лучше снова дожидаться ее и завести выгодную торговлю, чем растрчивать молодые силы на грибы.

Если поезд стоит долго, спросите у кондуктора, где жандарм, а у жандарма – где начальник станции, а у начальника станции – где буфет. Таким образом, вы будете все знать из первых рук.

У пассажиров – с благородством, но настойчиво выпытайте, куда, зачем и откуда они едут, сколько примерно в их городе жителей и далеко ли от них до Богородска.

Этот последний вопрос всегда неотразимо действует, в особенности на иностранцев. Они начинают относиться к вам необычайно внимательно и иногда даже, забрав всю поклажу, уходят в соседний вагон, чтобы предоставить вам покой и место.

Кроме того, узнавайте все время, как кого зовут и у кого что болит; у дам спрашивайте, не вредно ли им сидеть спиной к движению, у стариков – не дует ли на них из вентилятора. Разузнав все подробно, вы, отъехав на двенадцать верст от места своего жительства, имеете уже полное право послать родным и знакомым «Письма издалека».

Теперь поговорим о настоящем, серьезном путешествии.

Прежде всего, куда бы вы ни ехали, хоть в Тибет, границу непременно переезжайте в Эйдткунене, иначе никогда не почувствуете себя на границе. Это уже дознано и признано.

Если хотите быть стереотипным, то, переезжая пограничную речонку, выгляните в окошко и высуньте язык.

Я лично этого не делаю, потому что, по-моему, это вовсе не так уж важно. Но многие считают это священным ритуалом. Не нами, мол, заведено, не нами и кончится. Ну и пусть себе.

Самый важный момент ваших пограничных переживаний – это предъявление немецкого билета немецкому сторожу на платформе Эйдткунена. Поднимите глаза и взгляните на него. У него нос цвета голубинового крыла, с пурпурными разводами и мелким синим крапом. Тут вы сразу поймете, что

все для вас кончено, что родина от вас отрезана и что вы одиноки и на чужбине.

Лезьте скорее в вагон и пишите открытки.

Если судьба занесет вас в Берлин (а она обыкновенно проделывает это с людьми, едущими через Эйдткунен), не забудьте во что бы то ни стало пойти к придворному парикмахеру Гансу Хаби, распушившему усы императору Вильгельму. Это вам обойдется рублей в шестнадцать, но зато вы узнаете кое-что.

Хаби посадит вас на стул и спросит, что вам угодно. Узнав, что вы хотите остричься, он загадочно улыбнется и наденет на вас намордник. Вы будете мычать и отбиваться, но крепко скрученная простыня не даст вам ни подняться, ни высвободить руки.

А Хаби начнет говорить о том, что все счастье вашей жизни в распушенных усах и что Вильгельм только потому и Вильгельм, что он, Хаби, надел на него свой намордник.

Говоря это, он будет поливать вам голову всякой гадостью собственного изобретения.

– Вы, конечно, разрешите коснуться вас слегка вот этим фиксатуаром? – поет он.

– Мм... не хочу! – мычите вы.

– Итак, с вашего разрешения!

И он снова мажет вас и, глумясь, хвалит за культурное отношение к парикмахерскому делу.

Но все на свете кончается. И Хаби, сняв с вас намордник,

подставляет вам зеркало, из которого глядит на вас белый тигр с печальными человеческими глазами и намавленной лысиной.

– Тридцать марок!

– Что-о?

– Этот инструмент я распечатал специально для вас. Эту мазь – тоже. Ведро этой жидкости откупорено ради вас, – теперь она все равно выдохнется. А вот эту щеточку – она стоит не менее пятидесяти пфеннигов, уверяю вас, – вы можете взять себе.

Не забудьте же побывать у придворного парикмахера. Вы, по крайней мере, сразу поймете, почему императору Вильгельму пришлось расширить цивильный лист. Бедняге не хватало денег, чтобы как следует «*sich rasieren*»⁶.

Еще советую вам обратить внимание на берлинских извозчиков, которые за последние годы невесть что забрали себе в голову. Они считают себя равноправными гражданами с шоферами и с трамвайными вожатыми. Лезут всюду, и некому их осадить и поставить на место.

Ни разу не довелось мне слышать, чтобы кто-нибудь дал им краткое, но меткое определение, которое так хорошо действует на извозчичью душу:

– Гужеед желтоглазый!

Конечно, они по-русски не поймут, но ведь можно же перевести. Не бог вещь какая трудность. Скажите:

⁶ Побриться (*нем.*).

– Du Rimenesser! Gelbauge!⁷

Не знаю в точности, как по-немецки гужи. Ну да вы это от него же и узнать можете.

Прямо спросите:

– Любезный извозчик! Как называется та часть упряжи, которую вы кушаете?

Он, конечно, не замедлит удовлетворить ваше законное любопытство. А вы воспользуетесь этим и сразу поставите его на место.

Ах, если относиться к своей задаче серьезно, то сколько полезного и для себя и для других можно извлечь из самого маленького путешествия.

Но много ли нас, серьезных-то людей!

⁷ Ременеед! Желтые глаза! (нем.)

Курорт

Знаете ли вы, господа, что такое курорт?

Курорт состоит из следующих элементов:

а) воды,

б) доктора,

в) больного и

г) музыки.

Вода течет из крана в стакан или в ванну.

Доктор получает деньги и делает знающее лицо.

Больной поддерживает докторское существование.

Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился.

Все, взятое вместе в определенных дозах, образует гармоническое целое, называемое – курорт.

Само собой разумеется, что это – только схема, набросок, руководство для детей, если бы они пожелали устроить себе домашний курортик.

На самом деле курорт куда сложнее!

Вода

Курортная вода прежде всего должна быть скверна на вкус. Если она при этом имеет и вид отталкивающий, то ценится вдвое дороже и экспортируется в чужие страны как драгоценность. Если же она к тому же обладает и противным запахом, то ей цены нет! Она тогда кормит и содержит все население благословенной страны, в которой пробила себе ход из земли.

Свойства курортной воды самые разнообразные и даже взаимоисключающие. Та же самая вода лечит от худобы и от толщины, от возбуждения и от апатии. Она помогает ото всего, но при непременно условии – через каждые три дня показываться доктору.

Доктор сделает знающее лицо и спросит, не дает ли себя чувствовать ваш левый мизинец или не покалывает ли в правую бровь.

– Нет! – испуганно отвечаете вы. – А разве нужно, чтобы колело?

Он усмехнется загадочно и ничего не ответит, а вы потом несколько дней подряд будете с ожесточением пить курортную воду и жаловаться знакомым:

– Не знаю, чего я тут сижу! До сих пор в правую бровь не колет. Только даром время теряю.

Относительно курортной воды французы всех перехитри-

ли. Они разлили в бутылки хорошую чистую родниковую воду, назвали ее «Eau d'Evian»⁸ и разослали по всем заграницам. От времени эта вода в бутылках немного портится и тухнет, приобретая некий курортный отпечаток, что наводит людей на мысль о ее целебности. У нас в лучших ресторанах воду эту подают по рублю за бутылку, и знатоки любят после обеда выпить стаканчик.

Дорого, зато тухло.

Вот как высоко котируется в настоящее время всякая испорченность.

⁸ Вода «Эвиан» (фр.).

Доктор

Курортный доктор – жрец совсем особой науки: все следствия выводит и относит к одной причине.

Если курортный доктор сидит около воды, исцеляющей от ревматизма, то, что бы с вами ни случилось, он все определит как последствия ревматизма.

Болит ли у вас зуб, умерла ли бабушка, украли ли на вокзале ваш багаж – все это грустные последствия застарелого ревматизма, требующие питья двух стаканов воды поутру и двух вечером, перед сном.

– Доктор, у меня мигрень.

– Это у вас так называемый ревматизм мозга. Пейте по три стакана утром и по четыре ве...

– Ревматизм мозга? Никогда не слышала.

– Вы откуда изволили приехать?

– Из Петербурга.

– Тогда неудивительно! Три дня вы пробыли в пути! Наука шагает быстро. За эти три дня сделаны колоссальные открытия! Пейте пять стаканов перед сном и двенадцать во время еды!

У курортного врача лежит на письменном столе большая книга, в которую он вписывает какие-то таинственные штуки про своих больных. Спросит:

– Гуляете много?

– Много, – ответит больной.

– Ага!

И начнет писать долго-долго.

Сидишь, следишь за его пером. Букв не видно, и приходится угадывать чутьем. Кажется, что пишет приблизительно следующее:

– Ага! Гуляешь много! Вот я те погуляю! Как закачу тебе двадцать четыре стакана бурды через каждые два часа, так небось перестанешь разгуливать.

Потом поднимет свое знающее лицо, проникновенно взглянет усталыми глазами и скажет:

– Попробуйте пить шесть стаканов. Через два дня зайдите.

Вы заходите через два дня. Он пощупает ваш пульс или смеряет температуру. Никто его не осудит за это, потому что нужно же и ему что-нибудь делать! Тоже ведь и он человек!

Потом велит пить не два стакана, а четыре полстакана, что составляет одно и то же только с грубо-математической точки зрения.

В курортном миропонимании четыре полстакана стоят значительно выше двух стаканов, и пьющий враздробь должен показываться врачу не через три, а через два дня.

В общем, обязанность курортного врача очень сложна, ответственна и требует особых сведений.

Больной

Курортный больной существует обыкновенно в нескольких лицах.

Он приезжает всегда с женой, с детьми, с теткой или с романами. Болен бывает, собственно, он один, но лечатся заодно и жены, и тетки, и романы.

Так как на каждого больного полагается несколько теток и романов, то курортную толпу составляют, собственно говоря, не больные, а этот их антураж.

Поэтому вполне понятно недоумение какого-нибудь неопытного туриста, попавшего в курзал серьезного курорта для серьезных больных, когда он видит здоровенные, круглые физиономии, пылающие от веселых *pas d'Espagne*, и толстые ноги, лихо щелкающие каблуками.

— Это больные? Или это те, которые уже выздоровели? Какой чудный курорт, где так великолепно поправляются!

Через два дня неопытный турист узнает, что настоящих больных никогда и не видно. Они сидят дома или ездят в экипажах подышать воздухом. А живут полной жизнью только тетки и романы.

В каждом курорте есть своя официальная красавица.

Красоты от официальной курортной красавицы никакой, впрочем, не требуется. Большею частью даже они бывают некрасивы, носаты, с несколько круглой спиной и большими

ногами.

На каждом курорте есть своя красавица, которая приезжает каждый год, и, когда умрет от старости, ее сменяет новая.

– Le roi est mort, – vive le roi!⁹

О курортных красавицах создаются легенды.

– Посмотрите, вон она! Видите, в зеленой шляпе... Она была замужем четырнадцать раз!

– Четырнадцать? Правда? А на вид, пожалуй, даже больше.

– Не правда ли? Удивительно интересная женщина! У нее двенадцать неизлечимых болезней. И все – наследственные. Сам доктор Шток лечит ее от наследственной простуды ноги. Это тоже неизлечимо. Правда, интересная женщина?

Курортная красавица должна делать все не так, как обыкновенная женщина, и не в то время.

Если все пьют первую бурду в 7 часов, то красавица – на два часа позже. Если жарко и на всех надеты летние платья, курортная красавица надевает на себя черный бархат и томится, как тушенная говядина в кастрюле.

Под дождем, если дождь с ветром, она ходит в декольтированном платье и обмахивается веером.

Все это очень трудно, и редкая курортная красавица доживает до семидесяти лет. Чаще они погибают безвременно, как тепличные растения, едва начав шестой-седьмой десяток.

⁹ Король умер, да здравствует король! (*фр.*)

Зато как пожито!

Музыка

Курортная музыка давно уже делит одинаковое прозвище с Аттилой:

– Бич Божий!

Состоит она из десятка-другого выгнанных отовсюду за бездарность и жестокосердие молодых людей, которым, следовательно, все равно – терять уже нечего.

И вот они дудят кто во что горазд. Но молодые люди не без юмора: по программе объявляют то рапсодию Листа, то из «Тангейзера».

Играют же всегда одно и то же: скрипка печально подвизгивает: «Du mein lieber Augustin»¹⁰, флейта – из похоронного марша два такта, барабан – «Рассыпья, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд», виолончель – «Когда б я знал!». Остальные беззастенчиво и просто все время настраиваются; получается нечто вроде аккомпанемента для каждого инструмента отдельно.

Напиваются эти жестокие молодые люди по очереди, и только по воскресеньям, к вечерней музыке, пьяны все зараз.

Музыка очень мучит больных. Но многие уже нашли средство борьбы с нею, которое следовало бы опубликовать: они громко поют что-нибудь свое, веселенькое.

¹⁰ Ты, мой милый Августин (нем.).

Русские

Русские приезжают в курорт целыми семьями. Один лечится, другие ходят за лечащимся, чтобы ему было с кем душу отвести.

Приезжие обыкновенно прежде всего спрашивают о ресторанах.

– Где бы здесь можно было хорошо поесть, чтобы посытнее да повкуснее?

Этим вопросом больше всего интересуются толстяки, присланные докторами для худения.

Разведав о ресторане, русский худеющий заглядывает туда между обедом и ужином, чтобы заморить червячка.

Немец живет аккуратно и ест в положенное время, и никакого червячка, которого нужно морить водкой и закуской, у него не водится.

Узнают немцы об этой русской хворости с большим удивлением и относятся к ней подозрительно, тем более что самый усердный мор, в сущности, паллиатив, потому что погибший червяк к ужину заменяется новым.

Первый докторский визит повергает русского в самое черное отчаяние.

Доктор дает расписание: вставать в 6 утра, ходить до девяти и пить воду. Есть одно белое мясо с овощами, брать ванну и тому подобные ужасы.

Осмотревшись и заведя знакомство с соотечественниками, русский успокаивается. Соотечественник научит, как взяться за дело.

– В шесть часов вставать? Да что вы, с ума сошли, что ли? Этак можно себе нервы вконец истрепать!

– А как же воду-то пить?

– Очень просто. Это вот как делается: даете лакею ихний двугривенный, он вам воду утром прямо в постель принесет – и никаких. Выпьете, угреетесь и снова заснете.

– А ванна?

– А на что вам ванна? Простудиться хотите, что ли? Дайте лакею ихний гривенник, он за вас ванну возьмет – и никаких. А доктору скажите, что сами брали. Очень просто.

– Так-то так, – соглашается худеющий, – да ведь доктор мне еще и гулять велел.

– Гулять? Ну посудите сами, какой вы гуляка, когда в вас весу больше шести пудов? Доктору хорошо говорить. Пусть сам гуляет. А мы с вами и посидеть можем. Дайте лакею ихний пятак, – он вам на скамеечке место займет, у самой музыки, всех видеть будете. Очень удобно.

Через пять недель значительно округлившийся худеющий собирается восвояси, горько каясь, что потерял золотое время на проклятом курорте.

– Шарлатаны! Только деньги драть умеют. Вместо того чтобы исхудить человека, который им, обиралам, доверился, они ему еще семь фунтов собственного жиру навязали!

Веселый, посвежевший и поправивший свои делишки лакей подает счет и выражает сожаление о столь раннем отъезде постояльца.

– Нет, – говорит тот. – Полно! Попили вы моей кровушки, и довольно. В другой раз сюда не заманите.

Лакей

В немецком курорте русскому человеку неуютно.

Во-первых, раз двенадцать – пятнадцать в день вся прислуга здороваётся. Нервного человека эта система доводит до конвульсий. После шестьдесят пятого гутентага редкий организм оправляется.

Особенно резкая разница между русской и немецкой курортной прислугой чувствуется в ресторане.

В русском ресторане лакей, особенно если он татарин, – человек душевный. Между ним и вашим чревом, которое вы пришли насытить, мгновенно образуются нити и звенья. Ваш обед, хотя съедите его вы один, становится вашим общим делом, для лакея еще более дорогим, чем для вас.

Предлагая вам какую-нибудь редкостную рыбу или птицу, русский лакей даже слегка приседает и начинает говорить шепотом, и все это делается исключительно из уважения к вашему желудку.

Немецкий лакей прежде всего подчеркивает, что ему нет ровно никакого дела, как и чем вы напичкаетесь. Он служит просто так, совершенно случайно, может быть, только для того, чтобы убить время между теннисом и партией в шахматы у посланника. Он, вообще, граф и имеет собственную виллу. Вы хотите пообедать в этой грязной лавчонке? Он удивляется вашему дурному вкусу и невоспитанности.

Наш лакей – энциклопедист. Он отвечает один по всем отраслям ресторанного дела.

Немецкий лакей – узкий специалист и служит у стола в четырех лицах. Одно из них подает обед, другое – вино и пиво, третье – хлеб, четвертое – счет.

Я слышала, как однажды обедающий профан обратился к человеку, подающему пиво, с просьбой «поторопить там насчет селедки».

Подающий пиво весь вспыхнул. Ему, подающему пиво, сказали такое слово:

– Селедка!

Он ничего подобного никогда в жизни не слышал!

Я думаю, что слово это врезалось в его мозг острыми красными буквами и отравило грядущую старость своей неуместностью. Пиво, пиво, пиво – и вдруг...

Как жутко!

Подает немецкий лакей ужасно медленно, даже без внешней, деланой торопливости, от которой так картинно раздуваются фалды русского лакея.

Раз я видела разъяренного господина, разводившего руками над тарелкой супа, и щеки у него дрожали от ярости. Сначала я думала, что это сумасшедший, но, прислушавшись, поняла, что это русский, которому уже полчаса не дают ни соли, ни хлеба, и кушанье простыло.

– Господи! – стонал он. – Если бы я знал, как их ругать, – мне бы легче было. Ну чего они за душу тянут? Как это по-

немецки? Warum meine Seele...¹¹ Черт знает что! Еще сам дураком окажешься. Ну чего они бродят, как сонные мухи! Warum sie wie... wie sie... eine Fliege, die will schlafen...¹² Ну вот видите! Круглая ерунда получается! Господи! Ведь ругают же их как-нибудь? Где бы это узнать? В посольстве, что ли?

Я стала успокаивать его, как могла.

Говорила, что есть хлеб – это предрассудок земледельческой страны, что и предки наши (в обезьяньем периоде) обходились совсем без соли и были куда здоровее нас.

Он успокоился, но долго и горько жаловался на немецкий обиход.

– Я у них спрашиваю: «Откуда икра, – астраханская, что ли?» – «Нет, – говорят, – мы ее прямо из Малосола выписываем. И тычет карту «russischer Kaviar Malossol»¹³. Хвастуны пошлые! Вчера велел хлеба подать, – жду-жду, взглянул ненароком на улицу, а он, этот самый хлебник-то, под моим же окном на велосипеде катается. Если это не бесстыдство, то укажите мне, где оно, прошу вас!

В глубокой задумчивости окончил он свой обед и, выходя из комнаты, столкнулся с лакеем, несшим ему хлеб и соль. Лакей с достоинством поставил все на стол, точно и не видел, что гость уже ушел.

¹¹ Почему моя душа... (нем.)

¹² Почему они как... как они... птица, которая хочет спать... (нем.)

¹³ Малосольная русская икра (нем.).

А тот горько усмехнулся и сказал:

– И он же меня еще и презирает! Уж верьте совести! Warum sie... Wie... sie...¹⁴ – вдруг вскинулся он на лакея, но тотчас же оборвал свою горячую речь. – Тьфу! Разве эта харя способна понимать по-человечески?

¹⁴ Почему они... Как... они... (нем.)

Завоевание воздуха

Гулкая трактирная машина скрежетала вальс из «Евгения Онегина». Было душно, жарко. Пахло салом и жареным луком.

Околоточный блаженствовал. Закинув голову вверх, он смотрел крошечными свиными глазками на розовый цветок электрической лампочки и мечтал вслух.

Лавочник слушал молча, перебирал пальцами, точно что-то подсчитывал и прикидывал.

– Полетела Россия-матушка, – говорил околоточный с миленьким. – Сидела-сидела и полетела. Фрррр... под самые облака. Благодать! Думал ли ты дожить до того, что люди вверх головой полетят!

– В Питере, слышно, аэроштаты строят, – сказал лавочник и прикинул пальцами. – И кому они только подряды сдают, – ума не приложу.

– Благода-ать! Только надо дело говорить, – и забот прибавится. Скажем, насчет паспортов. Мужу, скажем, волю не выдает вида, а он сел на шар да и фыррть куда хочет. Это никак нельзя. Придется воздушные участки строить. Как внизу, так и наверху. Пристав – внизу, пристав – наверху. Городовой – внизу, городской – наверху. Околоточный – внизу, околоточный – наверху. Чтобы, значит, как звезды в воде отражались! Кр-расота!

Сижу это я там, наверху, на каком-нибудь этаким балкончике, и птичек на удочку ловлю.

Вдруг – что такое! – на дежурном баллоне городской летит!

– Ваше благородие! Беспаспортные поднялись!

– Беспаспортные! Волоки сюда. Уж я разберу.

Ведут... Кто такие? А не хотите ли вниз, сухопутным путем, вверх ногами. Савельев! Запри их пока что в аэростантскую. Кр-расота!

А предъявил паспорт – лети. Лети. Мне не жаль! С меня воздуха хватит.

Помолчали. Лавочник подсчитал пальцами.

– Ресторант открыть можно, – сказал он значительно. – Большой шар оборудовать, с крепкими напитками. Можно на канате держать, чтобы, значит, в чужой участок не залетел. А то вашей милости плати, да еще другому, да третьему... Не того-с. Не с чего! Балкончики можно тоже разные. Отдельные кабинеты со стеклянным полом. Входная плата само собой, а кабинет отдельно, а на балкончик выйти – тоже отдельно. Нельзя-с! Самим дороже стоит. Не ндравится, так не ходи.

Но околоточный не слушал.

– Уж я непременно наверх попрошусь. Уж из кожи вон вылезу, а наверх порхну. Представляй себе: на такой незапамятной вышине, где до сих пор царили только львы да орлы, стою я да посматриваю. А снизу кричат: «Феоктист Ивано-

вич! Как вас вознесло!» А я им сверху – ручкой, ручкой: «По чину-с! По чину-с!»

– Гравюра! Прямо гравюра!

– Кабинеты – особая цена, – подсчитывал лавочник, – да за вина, что захочу, то и положу. Здесь, сударь, не земля. С облаков тоже вина не надоишь. Хотите пейте, хотите не пейте. У нас чистая публика и претензий никогда не заявляла.

– Одно меня беспокоит, – прервал околоточный. – Боюсь, что жид полетит! Ну что тогда делать? Ему оседлость дана в Могилевской губернии, а он будет над Москвой парить. И все свои дела сверху обделаает.

– Ну! Сверху нельзя.

– Нельзя! Это нам с тобой нельзя, а жид станет этак как-нибудь пальцами вертеть – они это умеют, – ну а снизу ему свои будут знаки подавать. Вот и готово! Вот и закон обойден! Придется проволочные решетки делать. Высокие. Сажен на пятьсот. Выше-то он не залетит. Ему не расчет выше-то лететь.

– Дорого будет стоять такая решетка, – прикинул пальцами лавочник.

– И не дешево, да не нам платить. Государственная безопасность требует расходов. Во имя красоты!

– Сверху тоже решеткой забрать придется. Они на машине легко перескакнут смогут. Нужно солидно делать.

– Вот ты теперь сидишь здесь свинья свиньей, и каждая курица мимо тебя пройти может! Каждый пес тебя хвостом

заденет. А там!!! Приду я к тебе в твоё заведение, залезу на самую вышку. – Саморылов! Тащи сюда водку! Тащи закуску! Угощай! Гость к тебе прилетел, Феоктист Иваныч. С добрым утром! А? Что ты на это скажешь?

Лавочник подсчитал пальцами, скосил глаза на околоточного и ответил внушительно:

– А что сказать? Очень просто. Видеть вас приятно, а потчевать, извините, нечем. Как ты теперь не нашего околотка, так к нам уже воздушный наведывался и всю закуску к себе отправить велел. Только и всего. Наше вам-с.

Французский роман

Осень для нас, несчастных неврастеников, время очень тяжелое!

Во-первых, темно, во-вторых, мокро, в-третьих, холодно. Это – на улице. А дома – самое густое разочарование в жизни. Жизнь надувает человека именно осенью.

Каждую весну вы думаете:

«Вот летом сделают ремонт в квартире, и все пойдет иначе. Осенью поставлю диван углом, рояль поверну боком... Как можно будет весело разговаривать вот на этих двух креслах, под пальмой, вдвоем... Вдвоем, так уж все равно – с кем; ведь с осени все люди будут совсем другими. А если на старую оттоманку да положить подушку с голубыми разводами, так, пожалуй, и муж перестанет в клуб бегать.

За лето эти туманные надежды вырастают в уверенность, в начале сентября диван ставится углом, кресла боком, рояль хвостом вперед, а в конце сентября вы уже ясно понимаете, что жизнь вас обошла и надула кругом и заставила совершенно напрасно поднимать весь этот дым коромыслом. Все осталось по-прежнему, по-прошлогоднему, и прежние люди удивляются прошлогодними словами, зачем вы все перевернули вверх дном.

Тогда вы захотите забыться и пойдете в театр.

Не ходите в театр!

Там будут подходить к вам полужнакомые, давно забытые скверные физиономии и, если вы очень сухопары, скажут вам, что вы за лето еще осунулись; если толсты – что вас разнесло; если бледны, спросят, как ваши делишки, и если стары, заметят вскользь, что лета дают себя знать.

Намекнут, попрекнут, лягут и уйдут. Как пузырь на болоте. И вспомнить потом трудно. Было что-то скверное, а в чем дело, даже и не поймешь.

Нет, если у вас осенняя неврастения, – сидите дома и читайте французский роман. Это единственное, что может вас спасти.

Хороший французский роман среднего французского романиста.

Наш русский роман очень беспокоен. То у нас «опрокидонт», и «дьякон налил по третьей – выпили», то вдруг изменившая мужу попадья стала зыбиться огненными столбами. Всего этого неврастенику безусловно нельзя. Он либо повесится, либо переколотит всю посуду в доме.

Не таков французский роман. Он спокоен, длинен и хорош уже тем, что, при всей своей видимой простоте, ничего общего с действительной жизнью не имеет.

Французский роман, как и все на свете, тоже эволюционирует.

Прежде, лет двадцать тому назад, героине его было только сорок пять лет. «Прелестное дитя улыбалось цветам и птичкам» и изменяло своему мужу.

Десять лет спустя прелестное дитя, оставаясь приблизительно в том же возрасте, увлекало читателей тонкой психологией своего двенадцатого адюльтера. Муж вообще не считался уже ни за что. Разбирался только вопрос, имеет ли второй любовник столько же прав на ревность, как и одиннадцатый.

Теперь уже не то. Теперь берите шире. В новом французском романе героине или не более двенадцати лет (как «Claudine», «La petite Cady»¹⁵ и прочим их суррогатам), или не менее пятидесяти.

Какова амплитуда! Каков размах!

Хуже всех живется во французском романе молодой девишке. Единственная роль, которая ей отводится скупым на девические радости романистом, – это делать к столу букеты и падать в обморок. Вообще же она скоро умирает или уезжает навеки к тетке в провинцию.

Любить ее нельзя.

Она, конечно, равнодушна к материнскому Густаву или Адольфу, но для него-то она не представляет ровно никакого интереса.

Молодая особа, которой, может быть, нет даже двадцати пяти лет, с хорошеньким личиком и кое-каким приданым.

О нет! Il en a souré!¹⁶

И он бежит от нее к ее очаровательной матери, которая

¹⁵ «Клодина», «Малютка Кади» (фр.).

¹⁶ Надоело! (фр.)

ждет его у окна, и «ее стройная шестидесятилетняя фигура изящно вырисовывается на фоне темной драпировки».

– Мадлена!

– Я твоя, но мне нужны деньги. Я люблю запах золота.

Он понимает ее. Он сам всю жизнь готов нюхать золото.

И вот они на пышном рауте (это все по роману Маргерита).

Там присутствует еще одна красавица, уже несколько отяжелевшая (лет, вероятно, этак под девяносто). И красота Мадлены выделяется еще ярче. Два банкира, увидев все это, тут же разорились. Запах золота, густой и пряный, опьянял присутствующих.

Мадлена торжествовала.

Там, вдали, в провинции, у тетки, дочь ее лежала в обмороке. А она улыбалась улыбкой Артемиды, которая к шестидесяти пяти годам только прочнее утвердилась в девственности своих очертаний.

Fin.

А вот роман другого полюса.

Героине двенадцать лет.

Чувствуется досада автора, что ей не три года. Но никак нельзя. Эти трехлетние девочки обыкновенно так еще плохо говорят, что толком и не разберешь, что им нужно.

Итак, ей двенадцать лет.

На совести ее несколько коротких романов и мимолетных связей. Она презирает мать за неумение пудрить заты-

лок так, чтобы не было заметно.

Она первая пустила в употребление голубую краску для нижних век.

Она «уже» стыдится пошлой интрижки с молодым лакеем и любезна с ним только из выгоды: любит распить потихоньку бутылочку-другую шампанского.

Гувернантку держит в страхе. Вместо уроков географии ходит в гости к знакомой кокотке, что тем не менее ничуть не вредит ее образованию.

Если же она поступает в школу, то времяпрепровождение ее среди сверстниц принимает такой уклон, что романы с ее жизнеописанием строжайше воспрещаются к ввозу в Россию, Австрию, Германию, Италию, Румынию, Испанию и Португалию.

Но ее редко отдают в школу. К чему? Да и некогда.

Утром (она встает около двух, так как утомлена ночным кутежом) позирование у модного художника, затем несколько свиданий, поездка с подругами в кафешантан. Смотришь, и день прошел.

Дома достаточно ей переступить без няньки за порог детской, чтобы тотчас же несколько министров, болтающихся всегда в коридоре, сделали ей бесчестные предложения.

Со свойственным ей тактом она ставит министров на место.

– Через пятьдесят лет я буду вашей.

– Zut!¹⁷

И через пятьдесят лет, уже в другом романе, где крепкий запах золота ест глаза, все министерства падают. Так пожелала она, стоя в коротеньких панталончиках на пороге своей детской.

О герое нового французского романа я не говорю ничего, потому что роль его вряд ли может утешить неврастеника-читателя.

Герой французского романа так неопытен и невинен, что самая чистая лилия кажется, по сравнению с ним, бурой свиньей.

Он всегда обманут, всегда несчастлив и всегда уважает волю своих родителей, живущих сельскими продуктами, где-то «там», среди ландышей и бузины.

Не будем же говорить о герое. Ну его!

Итак, господа осенние неврастеники, читайте французские романы.

Читайте и оставьте вашу мебель в покое. Пусть стоит, как стояла в прошлом году. Нужно немножко переждать.

Вот стукнет вам шестьдесят лет, и все переменится само собою. Фигура ваша зазмеится в амбразуре окна; четыре Гастона, давя друг друга, бросятся к вашим ногам, и от терпкого запаха золота расчихается даже ваша старая, ко всему привычная кошка.

А министерства! С каким треском они рухнут, если толь-

¹⁷ Черт возьми! (*фр.*)

ко вы этого пожелаете. Вы, в своих коротеньких панталон-
чиках!

Zut!

К теории флирта

Так называемый флирт мертвого сезона начинается обыкновенно – как должно быть каждому известно – в середине июня и длится до середины августа. Иногда (очень редко) захватывает первые числа сентября.

Арена флирта мертвого сезона – преимущественно Летний сад.

Ходят по боковым дорожкам. Только для первого и второго rendez-vous допустима большая аллея. Далее пользоваться ей считается уже бестактным.

«Она» никогда не должна приходить на rendez-vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда-нибудь спрятаться.

Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так, чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответствен за свою походку? А разные маленькие случайности вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колена или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого?

Да и если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту.

Сидящему гораздо легче.

Если он мужчина, – он читает газету или «нервно курит папиросу за папиросой».

Если женщина, – задумчиво чертит по песку зонтиком или, грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недурно также ощипывать лепестки цветка.

Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения.

Итак, дама не должна приходить первая. Кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревности. Тогда это не только разрешается, но даже вменяется в обязанность.

– А я уже хотела уходить...

– Боже мой! Отчего же?

– Я ждала вас почти полчаса.

– Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут...

– Конечно, вы всегда окажетесь правы...

– Но ведь часы...

– Часы здесь ни при чем...

Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях.

Дальше уже легко.

Можно прямо сказать:

– Ах да... Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама... и т. д.

Это выходит очень хорошо.

Еще одно важное замечание: сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в Летнем. Почему? А я почему знаю – потому! Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится.

Да кроме того, – попробуйте-ка в Летнем! Ничего не выйдет.

Таврический специально приноворен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды («Я желаю только покоя!..»), и вид на Государственную думу («... и я еще мог надеяться!..»).

Да, вообще, лучше Таврического сада на этот предмет не выдумаешь.

Одно плохо: в Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие малоподходящее. Для меланхолической – великолепно.

Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на «него» или на «нее» свои «изумленные глаза, полные слез», и посмотреть с упреком.

Если же вы ненароком зевнете слишком уж откровенно, то вы можете, скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: «Это нервное».

Вообще, флиртующим рекомендуется к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагораживает.

У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чиханье, не правда ли, всегда почему-то при-

нимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать: «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и вовсе не требую от вас уважения к моему поступку!»

Чиханье для флирта было бы губительным. Но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное: «Ах! Это нервное!»

В некоторых случаях особо интенсивного флирта даже флюс можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят. Добросовестный флиртер непременно поверит.

Ликвидировать флирты мертвого сезона можно двояко. И в Летнем саду, и в Таврическом. В Летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, «поднять глаза, полные слез»...

При прощании в Летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взором заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь, и вы в полуобороте, шляпа в ракурсе... Этот момент не скоро забудется. Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой.

Не вздумайте только, бога ради, торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понутив голову, идите через цепной мост (ах, он также сбросил свои сладкие цепи!..). Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить «Гала Петера» и откусить кусочек.

Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить:

– Ах! Это вы?

Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то ничего нет и удивительного, что человек пришел в назначенное время в назначенное место.

Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание:

– Ах! Сегодня день неожиданных встреч. Только что встретила с... (имярек софлиртующего), а теперь вот с вами!

Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится. Старо и глупо.

Тонкая штучка

Дело Николая Ардальоныча было на мази.

Задержки никакой не ожидалось, тем более что у Николая Ардальоныча была в министерстве рука – свой человек, друг и приятель, гимназический товарищ Лаврюша Мигунов.

– Дорогой мой! – говорил Лаврюша. – Я для тебя все сделаю, будь спокоен. Тебе сейчас что нужно? Тебе нужно получить ассигновку. Ну, ты ее и получишь.

– Не задержали бы только, – беспокоился Николай Ардальоныч. – Мне главное – получить ассигновку сейчас же, иначе я сел.

– Почему же ты сядешь? Дорогой мой! А я-то для чего же существую на свете? Ассигновка целиком зависит от генерала, а генерал мне доверяет слепо. Кроме того, дело твое – дело чистое, честное и для министерства выгодное. Чего же тебе волноваться?

– Я сам знаю, что дело чистое, да ведь вот говорят, что без взятки нигде ничего не проведешь, а я взятки никому не давал.

– Это покойный Купфер взятки брал, а с тех пор как я на его месте, ты сам понимаешь, об этом и речи быть не может. Генерал – честнейший человек, очень щепетильный и чрезвычайно подозрительный. Ну да ты сам увидишь. Приходи завтра к двенадцати. Но прошу об одном: никто в министер-

стве не должен знать, что мы с тобой – друзья. Не то сейчас пойдут разговоры, что вот, мол, Мигунов за своих старается. Еще подумают, что я материально заинтересован.

На другое утро Николай Ардальоныч в самом радужном настроении пришел в министерство.

– Здравствуй, Лаврюша!

Мигунов весь вспыхнул, покосился во все стороны и прошептал, не глядя на приятеля:

– Ради бога, молчите! Ни слова! Выйдем в коридор.

Николай Ардальоныч удивился. Вышел в коридор.

Минуты через две прибежал Лаврюша.

– Ну можно ли так! Ведь ты все дело погубишь! «Лаврюша! Здравствуй!» Ну какой я тебе тут «Лаврюша»?! Ты меня знать не знаешь.

Николай Ардальоныч даже обиделся:

– Да что, ты меня стыдишься, что ли? Что же, я не могу быть с тобой знакомым?

Лаврюша тоскливо поднял брови.

– Господи! Ну как ты не понимаешь? Я, может быть, в душе горжусь знакомством с тобой, но пойми, что здесь не должны об этом знать.

– Право, можно подумать, что ты какую-нибудь подлость сделал ради меня. Ну, будь откровенен: тебе пришлось твоему генералу наплести что-нибудь?

– Боже упаси! Вот на прошлой неделе дали Иванову асигновку, – так я прямо советовал генералу не упускать этого

дела. Искренно и чистосердечно советовал. Потому что я – человек честный и своему делу предан. С Ивановым я лично ничем не связан. Я и рекомендовал, как честный человек. А согласись сам, как же я могу рекомендовать твое дело, когда я всей душой желаю тебе успеха? Ведь если генерал об этом догадается, согласись сам, ведь это верный провал. Тише... кто-то идет.

Лаврюша отскочил и, сделав неестественно равнодушное лицо, стал ковырять ногтем стенку.

Мимо прошел какой-то чиновник и несколько раз с удивлением обернулся.

Лаврюша посмотрел на Николая Ардальоныча и вздохнул: – Что делать, Коля! Я все-таки надеюсь, что все обойдется благополучно. Теперь иди к нему, а я пройду другой дверью.

Генерал принял Николая Ардальоныча с распростертыми объятиями.

– Поздравляю, от души поздравляю. Очень, очень интересно. Мы вам без лишних проволочек сейчас и ассигновочку напишем. Лаврентий Иванович! Вот нужно вашему приятелю ассигновочку написать...

Лаврюша подошел к столу бледный, с бегающими глазами.

– К-какому при... приятелю? – залепетал он.

– Как какому? – удивился генерал. – Да вот господину Вербину. Ведь вы, помнится, говорили, что он – ваш друг.

– Н-ничего п-подобного, – задрожал Лаврюша. – Я его не

знаю... Я не знаком... Я пошутил.

Генерал удивленно посмотрел на Лаврюшу.

Лаврюша, бледный, с дрожащими губами и бегающими глазами, стоял подлец подлецом.

– Серьезно? – спросил генерал. – Ну, значит, я что-нибудь спутал. Тем не менее нужно будет написать господину Вербину ассигновку.

Лаврюша побледнел еще больше и сказал твердо:

– Нет, Андрей Петрович, мы эту ассигновку выдать сейчас не можем. Тут у господина Вербина не хватает кое-каких расчетов. Нужно, чтобы он сначала представил все расчеты, и тут еще следует одну копию...

– Пустяки, – сказал генерал, – ассигновку можно выдать сегодня, а расчет мы потом присоединим к делу. Ведь там же все ясно!

– Нет! – тоскливо упорствовал Лаврюша. – Это будет не по правилам. Этого мы сделать не можем.

Генерал усмехнулся и обратился к Николаю Ардальонычу:

– Уж простите, господин Вербин. Видите, какие у меня чиновники строгие формалисты! Придется вам сначала представить все, что нужно, по форме...

– Ваше превосходительство! – взметнулся Николай Ардальоныч.

Тот развел руками.

– Не могу! Видите, какие они у меня строгие.

А Лаврюша ел приятеля глазами, и зрачки его кричали: «Молчи! Молчи!»

В коридоре Лаврюша нагнал его.

– Ты не сердись! Я сделал все, что мог.

– Спасибо тебе! – шипел Николай Ардальоныч. – Без тебя бы я ассигновку получил...

– Дорогой мой! Но ведь зато ему теперь и в голову не придет, что в душе я горой за тебя. Сознайся, что я – тонкая штучка!

А генерал в это время говорил своему помощнику:

– Знаете, не понравился мне сегодня наш Лаврентий Иванович. Оч-чень не понравился! Странно он себя вел с этим своим приятелем. Шушукался в коридоре, потом отрекся от всякого знакомства. Что-то некрасивое.

– Вероятно, хотел взятку сорвать, да не выгорело – вот он потом со злости и подгадил, – предположил генеральский помощник.

– Н-да... Что-то некрасивое. Нужно будет попросить, чтобы этого бойкого юношу убрали от нас куда-нибудь подальше. Он, очевидно, тонкая штучка!

Дэзи

Дэзи Агрикова с большим трудом попала в лазарет.

Во-первых, очень трудно было устроиться на курсы сестер милосердия. Везде такая масса народа, и все как-то успевали записаться раньше Дэзи Агриковой, и везде был полный комплект, когда она приходила.

Наконец нашлись какие-то курсы, куда она попала вовремя. Но принимавшая запись барышня с флюсом предупредила честно и строго:

– Прав никаких. Определенных часов для лекций нет.

Дэзи все-таки записалась и стала ходить. Проходяв недели четыре и не получив ни прав, ни свидетельства, Дэзи Агрикова стала хлопотать о поступлении в лазарет.

Было трудно. Никуда не брали. Везде переполнено.

А знакомые дразнили вопросами:

– Вы где работаете? Я в N-ском лазарете. Полтораستا раненых. Масса работы. Я на лучшем счету.

– Вы в каком лазарете? Как ни в каком? Да что вы! Теперь все в лазарете – и княжна Кукина, и баронесса Шмук.

– Вы не собираетесь на передовые позиции? Я собираюсь. Теперь все собираются – и княжна Шмукина, и баронесса Кук.

Дэзи Агрикова стала врать. Стала говорить, что работает, а где, это секрет, и что едет на передовые позиции, а когда

– секрет и куда – секрет.

Но потихоньку плакала.

Было как-то неловко. Неприлично.

Чувствовала себя как купеческая невеста, не играющая на рояле.

Приходил Вово Бэк и шепелявил, неумело затыкая под бровь монокль:

– Неужели вы еще не работаете в лазарете? Теперь необходимо работать в лазарете. Все дамы из высшего общества... *C'est très bien vu*¹⁸. И вам, наверное, очень пойдет костюм сестры.

Дэзи хлопотала, нажимала все пружины, и наконец дело ее устроилось. И устроилось очень просто: нужно было только попросить баронессу Кук, та попросила Павла Андреича, Павел Андреич попросил княжну Шмукину, княжна Шмукина сказала Веретьеву, Веретьев – княжне Кукиной, княжна Кукина – баронессе Шмук, а баронесса Шмук попросила Владимира Николаевича, который ни более ни менее как друг, если не детства, то среднего возраста, самой Марьи Петровны.

Таким образом Дэзи Агрикова устроилась в лазарете.

Волновалась страшно: какая косынка больше идет – круглая или прямая? Выпускать челку или только локончики у висков?

Пришла она в лазарет утром, поискала глазами, кому бы

¹⁸ Это очень одобрили бы в обществе (*фр.*).

сказать о том, что она пришла сюда работать «по просьбе самой Марьи Петровны», но никто на нее не смотрел, и никому не было до нее дела. Все были заняты.

Вот отворилась дверь, на которой прибита дощечка: «Перевязочная. Вход воспрещен». Выглянула плотная женщина с засученными рукавами и крестом на груди.

– Вы что?

Дэзи подтянула губки и собралась рассказать про Шмук, Кук и Марью Петровну, но ее перебили:

– Так идите же скорее помогать. Там рук не хватает.

Дэзи вошла в перевязочную.

По стене на табуретках сидели раненые, кто вытянув забинтованную руку, кто – ногу. Сидели молча.

На длинном столе лежал боком очень худой бородатый солдат. Доктор, низко нагнувшись над его бедром, вертел каким-то блестящим инструментом. Лицо у доктора было бледное, губы стиснуты, и только на одной щеке горело яркое пятно.

– Подберите патлы и вымойте руки! – быстро сказала Дэзи женщина с крестом.

Дэзи вспыхнула, но руки у нее словно сами поднялись и спрятали под косынку тщательно подвитые локончики.

– Умывальник в углу. Потом идите сюда скорее, держите ему ногу.

Дэзи держала ногу, над которой возился доктор. Она чувствовала, как дрожит эта нога мелкой дрожью страдания, ви-

дела капли пота на лбу доктора и красное пятно на его щеке.

Раненый не стонал, а только тяжело дышал и вдруг, слегка повернув голову, посмотрел на Дэзи.

– Спасибо, родная, спасибо, желанная, хорошо держишь. Так-то мне лучше, как ты держать стала.

Голос у него был слегка сдавленный, жалкий и ласковый; говорок на «о».

– Лежи тихо, лежи тихо! – прикрикнул доктор.

Дэзи смотрела, как доктор старался ухватить длинными щипцами что-то там в глубине раны.

– Там пуля? – робко спросила она.

– Пуля, – отвечал доктор. – Очень трудно извлечь.

И Дэзи долго держала эту тихо дрожащую страданием ногу, и когда раненый охнул, она тихонько погладила его и шепнула:

– Ничего, ничего...

Каждое вздрагивание его она чувствовала и на каждое отвечала какою-то новой напряженной нежностью своей души, и когда, наконец, облегченно вздохнув, доктор показал ей на своей окровавленной ладони круглую черную пулю, она вся задрожала радостью и еле удержалась, чтобы не заплакать.

– Господи, счастье какое! Господи, счастье какое!

Потом, когда раненый уже лежал на своей койке, усталый, но довольный и спокойный оттого, что и страх, и страдания уже кончились, Дэзи подошла к нему и молча улыбнулась. Улыбнулся и он простой детской улыбкой серенького, ря-

бенького, бородатого мужичонки.

– Это ты, желанная, ногу мне держала? Спасибо, родная. Очень мне от тебя легче стало, сестричка моя белая.

Дэзи позвали к телефону.

– Это очень хорошо, что вы в лазарете, – свистел в трубку Вово Бэк. – *C'est très bien vu* в высшем обществе. Воображаю, как все раненые в вас влюбляются.

Дэзи, не отвечая, тихо повесила трубку и тихо, но решительно, словно навсегда, отошла от телефона.

Подошла к своему рябому мужичонке и, не поднимая глаз, словно по глазам мог бы он узнать, что она сейчас слышала, нагнулась к нему.

– Тебе хорошо?

– Спасибо, родная.

– Как тебя зовут?

– Митрий Ящиков.

– Спасибо тебе, Дмитрий, что тебе хорошо. Я сегодня счастливая, а я еще никогда не была... Это я оттого, что тебе хорошо, такая счастливая.

И вдруг она смутилась, что, может быть, он не понимает ее.

Но он улыбался простой, детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки.

Улыбался и все понимал.

Неделикатности

Журфикс был в полном разгаре.

Молодой моряк – душа общества – декламировал, импровизировал, читал Бальмонта под собственную музыку:

«Я в мир-р пришел, чтоб видеть солн-н-це!»

Вдохновенно ворочал круглыми глазами и под конец прочел свое собственное стихотворение, до такой степени похожее на бальмонтовское, что барышни даже не разобрали, которое чье.

Потом играли в рулетку, потом ужинали.

За ужином толстый полковник рассказывал горбуновские сценки, путая и перевирая. Слушатели доверчиво смеялись.

– Пузырь... Он те полетит... Накачали воздуху, так и полетит...

Мой сосед, моряк, душа общества, вдруг загрустил...

– Все это было когда-то так! Теперь не то!

– О чем вы!

– Не то теперь! Теперь они не скажут «пузырь» или «водо-глаз». Скорее мы с вами скажем. Сегодня утром, как раз после того, как я подобрал музыку к «Полевой ромашке», пришел ко мне матрос по делу. Я, нужно вам признаться, специалист по беспроволочному... как это называется... гм...

да, по беспроволочному телеграфу. У меня, понимаете, звучат в душе: «Я зовусь полевая ромашка!», а матрос так и жарит: «переменный ток когерер, самоиндукция...» Стою как дурак!

– Чего же вы так? – удивляюсь я. – Ведь вы специалист?

Душа общества криво усмехается.

– На днях еду в трамвае, – вполголоса, точно на исповеди, изливает он, – вдруг остановились, ни туда, ни назад. Я и говорю вагонуводителю: «Видно, братец, что-то в машине заело». А он чуть-чуть отвернулся и говорит: «Нет, это просто мотор замкнулся на себя». И чувствую, что, не будь ему так за меня стыдно, он бы тут же пустился объяснять, как мотор замыкается.

Толстый полковник рассказывал анекдот, как мужик хотел послать сапоги по телеграфу.

– Да, да! – приговаривал моряк. – Это мы с вами пошлем! А мужик не пошлет. Мужик вам скажет, какой аппарат Морзе, а какой не Морзе. Говорю недавно своим матросам: «Вот, братцы, теперь в беспроволочной телеграфии введена такая особенная, как ее... дуга, очень сильная, так что можно будет далеко телеграфировать». А матросик-монтер мне в ответ: «Это вы про дугу Паульсена? Действительно, благодаря монохроматичности переменного поля, допустима более точная синтонизация на основное колебание».

Верите ли, у меня было такое чувство, как будто он меня при всех колотит. И так, и этак, и перевернет... Да вдруг

как крикну: «Мо-олчать!» Повернулся и ушел. Ужасно глупо! Ужасно!

Но что же мне оставалось, когда я ему: «этакая... как ее... дуга», а он переменного Паульсена или как там его... Прямо неделикатно.

– Вы это серьезно?

– Как вам сказать? Понимаю, что глупо, а ничего не могу поделать!

Он задумался и еще раз сказал про себя:

– Неделикатно!

После ужина опять сели играть в рулетку. Я быстро проигралась и отправилась домой.

В переднюю проводила меня дочь хозяйки дома, молоденькая барышня, прошлой весной окончившая институт.

Она загадочно улыбалась, лукаво щурила глаза и наконец шепнула:

– Вы не скажете маме? Дайте слово, что не скажете.

– Ну?

– Нет, вы дайте слово!

Ей так хотелось в чем-то признаться, что даже в горле у нее пищало.

– Ну, все равно, я вам верю. Знаете, мы вчера какую штуку выкинули? Вы прямо не поверите! Я, Лиля Корина, ее брат и Владимир Андреевич отправились потихоньку в кафешантан. Мама думает, что я была у Лили, а Лилина мама думает, что Лилия была у меня. Всех надули!

– Ну что же, весело было?

– Ах! Вы себе представить не можете! Там танцевали «Ой-ра». Это так неприлично!

И снова у нее в горле само собою пискнуло от приятного волнения.

– Непременно поедем еще раз. А Владимир Андреич был совершенно пьян! Ужасно! Только, ради бога, маме не говорите. На будущей неделе опять поедем. Ах, как это все неприлично!

В передней молоденькая горничная надевала мне галоши.

– Что это вы, Глаша, какая сегодня завитая? – спросила я.

– Я вчера со двора ходила.

– Весело было?

– Да, очень интересно было, – отвечала горничная с достоинством. – Собралось человек пятнадцать. Играли в суд. Один молодой человек был прокурором, одна девушка – защитником. Судьи были, присяжные, – все как следует. Очень интересно.

Я вспомнила, как зимой предлагал кто-то устроить эту игру в одном из кабаре и как большинством голосов затея была отвергнута. Кричали, что скучно, что люди собираются отдохнуть и повеселиться, а не голову ломать над юридическими хитростями.

– От вас все разбегутся в карточные комнаты!

– А действительно тоска! – соглашалась и я с другими.

– Скажите, Глаша, – робко спросила я. – Вам не скучно

было?

– Что вы, барыня! Не в карты же нам играть! Понятно, развлечься чем-нибудь действительно интересным.

Мы переглянулись с бывшей институткой.

Глаша любила jeux d'esprit¹⁹, а мы...

Мы сказали друг другу глазами:

– Как это неделикатно!

¹⁹ Интеллектуальные игры (*фр.*).

Гедда Габлер

Они все хотят играть Гедду Габлер. Все. Начиная от маленькой шепелявой ingénue и кончая комической старухой с тройным подбородком и подагрическими пальцами.

Если вы увидите в оперетке какую-нибудь толстую тетку короля или жену трактирщика, будьте уверены, что вся показываемая вам буффонада – только корявая оболочка, в которой, как Кощеева смерть в голубином яйце, невидимо, но плотно угнездилась мечта о Гедде Габлер.

Как-то в одном из маленьких наших театриков ставилась маленькая пьеска маленького драматурга. По просьбе автора одну из ролей отдали его жене.

Для этого пущены были в ход все пружины, начиная с дочери суфлера и кончая матерью режиссера. Увидя игру своей протеже, все эти пружины чуть не лопнули от ужаса. Жена автора была трагична в самых комических местах пьесы и вызывала веселые взрывы смеха в лирических.

Вдобавок она обладала таким невероятным, неслыханным акцентом, что после первого же акта друзья театра хлынули к режиссеру с расспросами:

– Что это значит?

– Что это за акцент?

Режиссер сконфузился, помялся и ответил:

– Н-не знаю. Говорят, будто она молоканка.

Публика долго удивлялась, дирекция долго мучилась, как бы поделикатнее отобразить от нее роль, а молоканка сидела в своей уборной в позе отдыхающей Дузе и говорила, улыбаясь мечтательно и грустно:

– Нет, не могу. Тяжело! Тяжело ежедневно кривляться в этой пошлой пьеске, повторять пошлые, бессмысленные фразы, размениваться на четвертаки глупого смеха для глупой публики! Я устала. Я хочу отдохнуть душой. Я хочу... Я хочу наконец сыграть Гедду Габлер. Пора! Пора!

Другая была маленькой начинающей актрисой. Играла толпу, и самой ответственной ее ролью была горничная, подающая письмо, да не просто, а со словами:

– Барыня! Вам письмо.

Роль эту разработала она так тщательно, что после второго же представления ее выгнали.

Выходила она с письмом не прямо, а как-то подкрадывалась боком. Слово «барыня» произносила свистящим шепотом. Потом делала ликующее ударение на слове «вам» и, наконец, грустное и недоуменное «письмо!».

Она объяснила потом театральному парикмахеру (больше никто не хотел ее слушать), что поняла и воплотила в своей роли тип сознательной горничной, которой давно режет ухо слово «барыня», которая подчеркивает слово «вам», как бы намекая на то, что и с нею следует обращаться тоже на «вы». «Письмо» она выговаривала с грустным недоумением, чтобы оттенить свое отношение к госпоже и показать, что считает

последнюю слишком неразвитой для такого интеллигентного занятия, как корреспонденция.

Покидая театр, она сказала, что, в сущности, очень рада поскорее вырваться из этой душной атмосферы, где ее заваливали работой, не оставляя времени на изучение серьезной роли, к которой она себя готовила.

– Что же это за серьезная роль? – удивлялись собеседники.

– Как что за роль? – удивилась и она. – Гедда Габлер. Чего вы глаза выпучили?

Третья актриса, вынашивавшая в себе зерно Ибсена, была хорошая бытовая актриса, отчасти комическая старуха, мастерски игравшая теток, старых дев, тещ и неблагородных матерей.

Сидела она как-то в свободный вечер в театре и смотрела Гедду Габлер в исполнении иностранной гастролерши.

– Н-нет, не нравится она мне, – сказала актриса в антракте. – Не поняла она Гедды. Совсем не тот рисунок роли. Она играет так, – тут актриса начертила в воздухе какие-то круги. – А я ее сыграла бы вот так.

И она быстро завертела рукой зигзаги и острые углы.

– Понимаете? Сначала так, потом вот так, потом поворот, потом срыв вверх, потом подъем в бездну. Понимаете?

Сначала думали, что она шутит, хлопали ее по плечу и приговаривали:

– А и затейница вы, Марья Ивановна! Никто лучше вас не

придумает. Захотите – мертвого рассмешите!

Но она и не думала смешить. До смеху ли тут! Она затеяла открыть собственный театр, чтобы сыграть Гедду Габлер.

– Одна беда – под ложечкой у меня взбухло. Как кислого поем – ни одно платье не лезет. Печень, что ли. Придется принять меры.

Приняла. Поехала в Карлсбад, подтянулась, вернулась, стала устраивать театр.

– Ничего, теперь под ложечкой все в порядке, будет вам настоящая Гедда. Подъем в бездну, срыв вверх, роковой зигзаг, – понимаете?

И она чертила в воздухе сгибы и срывы. Все так к этому привыкли, что как увидят издали бестолково махающие руки, кланяются и здороваются, уверенные, что это непременно она.

А она все говорила, все показывала, захлебывалась, от спешки стала вместо «Гедда Габлер» говорить «Гадда Геблер» вплоть до первого спектакля.

Провалилась она так эффектно, что от треска своего провала сама словно оглохла. Но, очнувшись, забыла все и открыла в Харькове самый безмятежный шляпный магазин.

Если бы судьба покровительствовала развитию модной промышленности, она, не будь глупа, на каждую жаждущую душу ассигновала бы возможность осуществить свою Гедду. И с небольшой затратой принесла бы большую пользу модничающему человечеству.

Разговоры

Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босоножек, разговаривающих ногами.

Многие русские артистки уже изучают это искусство.

И хорошо делают.

У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Немногие из нас могут быть уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как например, в следующем диалоге:

– Уж и поговорить нельзя?

– Я тебе поговорю!

– Уж и погулять нельзя?

– Я тебе погуляю!

Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которою произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.

Переведите эту фразу французу. То-то удивится!

А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собеседников ни разу не сказал того слова, которое хотел.

Понимали друг друга только по интонации, по выпучен-

ным глазам и размахивающим рукам.

Ах, как бы здесь пригодились хорошо дрессированные ноги!

Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой-то премьеры, так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, пролезали «в хвост».

Вдруг появляется какая-то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направляется к кассе, не выжидая очереди.

Стоявший у двери швейцар остановил:

– Потрудитесь стать в очередь!

Личность огрызнулась:

– Оставьте меня в покое!

Тут и начался разговор. Оба говорили совсем не то, что хотели, с грехом пополам понимая друг друга по интонации.

– Тут не оставление, а потрудитесь тоже порядочно знать! – сказал швейцар с достоинством.

Фраза эта значила, что личность должна вести себя прилично.

Личность поняла и ответила:

– Вы не имеете права через предназначенье, как стоять у дверей. И так и знайте!

Это значило: ты – швейцар и не суйся не в свое дело.

Но швейцар не сдавался.

– Должен вам сказать, что вы напрасно относитесь. Не та-

кое здесь место, чтобы относиться! (Не затевай скандала!)

– Кто кому и куда – это уж позвольте, пожалуйста, другим знать! – взбесилась личность.

Что значила эта фраза, я не понимаю, но швейцар понял и отпарировал удар, сказав язвительно:

– Вы опять относитесь! Если я теперь тут стою, то, значит, совершенно напрасно каждый себя может понимать, и довольно совестно при покупающей публике, и надо совесть понимать. А вы совести не понимаете.

Швейцар повернулся к личности спиной и отошел к двери, показывая равнодушным выражением лица, что разговор окончен.

Личность сердито фыркнула и сказала последние уничтожающие слова:

– Это еще очень даже неизвестно, кто относится. А другой по нахальству может чести приписать на необразованность.

После чего смолкла и покорно стала в «хвост».

И мне представлялось, что оба они, вернувшись домой, должны же будут проболтаться кому-нибудь об этой истории. Но что они расскажут? И понимают ли сами, что с ними случилось?

Летом мне пришлось слышать еще более трагическую беседу.

Оба собеседника говорили одно и то же, говорили томи-тельно долго и не могли договориться и понять друг друга.

Они ехали в вагоне со мною, сидели напротив меня. Он –

офицер, пожилой, озабоченный. Она – барышня.

Он занимал ее разговором о даче и деревне.

Собственно говоря, оба они внутренне говорили следующую фразу:

«Кто хочет летом отдохнуть, тот должен ехать в деревню, а кто хочет повеселиться, пусть живет на даче».

Но высказывали они эту простую мысль следующим приемом.

Офицер говорил:

– Ну конечно, вы скажете, что природа и там вообще... А дачная жизнь – это все-таки... Разумеется...

– Многие любят ездить верхом, – отвечала барышня, смело смотря ему в глаза.

– А соседей, по большей части, мало. На даче сосед – пять минут ходьбы, а в де...

– Ловить рыбу очень занимательно, только не...

– ...деревне пять верст езды!

– ...неприятно снимать с крючка. Она мучится...

– Ну и конечно, разные спектакли, туалеты...

– В деревне трудно достать режиссера.

– Ну что там! Из Парижа специальные туалеты выписывают. Разве можно при таких условиях поправиться?

– Нужно пить молоко.

Офицер посмотрел на барышню подозрительно:

– Уж какое там молоко! Просто какая-то окись!

– Ах нет, у нас всегда чудесное молоко!

– Это из Петербурга-то в вагонах привозят чудесное?

Признаюсь, вы меня удивляете.

Барышня обиделась.

– У нас имение в Смоленской губернии. При чем же тут Петербург?

– Тем стыднее! – отрезал офицер и развернул газету.

Барышня побледнела и долго смотрела на него страдающим взором.

Но все было кончено.

Вечером, когда он, сухо попрощавшись, вылез на станции, она что-то царапала в маленькой записной книжке.

Мне кажется, она писала:

«Мужчины – странные и прихотливые создания! Они любят молоко и рады возить его с собой всюду из Петербурга...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.